ВАЛЕНТИН ПИКУЛЬ

ПСЫ ГОСПОДНИ



ИСТОРИЧЕСКИЙ РОМАН

Псы господни

Валентин Саввич Пикуль

Аннотация
Валентин Саввич Пикуль. Псы господни
Книга первая. НА КОСТРАХ
ПРОЛОГ. ВСЕ ДОРОГИ ВЕДУТ В РИМ
1. МОЯ ЛЮБОВЬ – МОЯ ЕВРОПА
2. ДОРОГА В МОСКОВИЮ
3. ПОСЛЕДНИЕ ИЗ ЯГЕЛЛОНОВ
4. ИСПАНЦЫ ЭТО... ИСПАНЦЫ
5. В ГОСТЯХ У БОГАТОЙ НЕВЕСТЫ
6. ИСПАНИЯ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО
7. ТЕПЕРЬ ВСТАНЬ И УЙДИ
8. ОСКУДЕНИЕ
9. ХАМОВО ОТРОДЬЕ
10. НАПРЯЖЕНИЕ
11. БЕГИ, ПОКА НЕ ПОЙМАЛИ
12. ЭМИГРАНТЫ
13. В ЭТОМ ПРЕКРАСНОМ РАЮ
14. ПСЫ ЦАРСКИЕ
15. ДЕЛА ЖИТЕЙСКИЕ
16. ВЫСОКАЯ ПОЛИТИКА
17. НЕЛЬЗЯ МОЛЧАТЬ
18. ЛУЧШЕ МОЛЧАТЬ

19. НЕЧТО БОЖЕСТВЕННОЕ

Аннотация

Россия, истерзанная безумным Иваном Грозным, измученная опричниной…

Испания, выжженная кострами инквизиции – опоры трона Филиппа II…

Страшное время религиозной истерии и болезненного распутства, бесконечных войн, казней – и, как ни странно, неподдельного, чистого, высокого экстаза тех, кому еще только предстоит стать мучениками за Веру – не важно, православную или католическую…

"Псы господни". Не издававшийся при жизни роман гения отечественной исторической прозы В.Пикуля!

Валентин Саввич Пикуль
Псы господни

Такой заголовок дал автор своему роману, начало работы над которым относится к концу 1980 года. Свеча жизни писателя догорела раньше, чем он поставил в нем последнюю точку. Вот и лежит сейчас передо мной извлеченная из архива рукопись незавершенного романа Валентина Пикуля.

Разбираю многочисленные бумаги с материалами, относящимися к роману, среди которых заметки, цитаты, «почасовик», программы (минимум и максимум), обширная библиография, десяток портретов. Почти везде будущее произведение значится под этим названием. Сама рукопись — более двухсот страниц уже отпечатанной и правленной Валентином Саввичем первой книги.

Особо следует остановиться на «почасовике» — так называл Валентин Саввич составляемый им на каждое новое произведение рабочий план, из которого было ясно, какие события происходили в тот или иной год и даже день, с кем встречался герой и о чем они говорили, где можно прочитать об этом событии или герое. Просмотрев «почасовик» можно иметь довольно полное представление о содержании книги. Именно создание «почасовика» требовало огромного многолетнего

труда, знаний, таланта. А сам процесс написания книги по подробному «почасовику», был для Пикуля, как говорится, делом техники.

Роман шел трудно, с большим физическим и нервным напряжением. На протяжении десяти лет жизни Пикуль трижды возвращался к этой теме, интересовавшей его не только как писателя, но и как историка-исследователя, заставляя много анализировать, сопоставлять с современностью, чтобы дать ответ на постоянно мучившие его вопросы: кто такие иезуиты, откуда и с чем пришли к нам, какую роль сыграли в истории нашего Отечества и Западной Европы. Рассыпать на мелкие камешки, удобные для рассмотрения, такую огромнейшую глыбу «за один присест» Пикулю оказалось не по силам.

Кроме того Валентин Саввич всегда был полон планов и замыслов. Траектория полета его мыслей была непредсказуема. Когда работа над одним романом подходила к концу, или он уставал жить в описываемой эпохе, у него в голове уже созревал другой роман, о котором Пикуль говорил вначале осторожно, исподволь, а потом все более отчетливо, настойчиво. Начинал собирать литературу и с упоением брался за освоение очередной темы. Но вдруг высвечивалась новая идея,

казавшаяся более грандиозной, и уже изученное, продуманное и осмысленное откладывалось в сторону — на время.

На первом этапе работы писатель пытался выяснить первопричину зарождения ордена иезуитов, стремясь докопаться до самой сути, однако, при изучении первоисточников он столкнулся со многими неизвестными явлениями, объяснения которых не только не проливали свет, а напротив — были, по мнению Пикуля, искусной попыткой завуалировать истину.

Здесь считаю уместным дать небольшую справку об иезуитах, наподобие той, что в самом начале давал мне Пикуль, «вводя меня в курс».

Быстрое распространение протестантства по государствам Европы вызвало соответствующую реакцию со стороны католической церкви. Как противодействие, препятствующее распространению нового религиозного течения, явилось рождение целого католического учреждения — ордена иезуитов.

Испанский дворянин, происходивший из самого древнейшего аристократического рода, Игнатий Лойола стал основателем иезуитского ордена.

В 1540 году папа Павел III утвердил устав нового

монашеского общества под названием Общества Иисуса (Societas Jesu), хотя само название членов общества иезуитов вошло в обиход уже после смерти Игнатия Лойолы.

Иезуиты получили от папы огромные права: всюду проповедовали свои идеи, совершали богослужения, исповедовали кающихся и давали обряд причащения.

В 16-17 веках иезуитов можно было видеть повсюду — в Европе, Азии, Латинской Америке. Часто они заседали в кабинетах государей и были их духовниками. Постепенно они завладели сердцами юношества и стали их духовными учителями. Но где бы иезуиты ни находились, чем бы они ни занимались, у них всегда была высшая цель, которой они добивались любыми средствами — спасение католической церкви.

Орден Игнатия Лойолы за четыре с половиной века своего существования был завязан в самых запутанных узлах политики Ватикана. Ныне орден переживает трудные времена. До недавних пор в рядах иезуитов насчитывалось 26 тысяч человек, и их количество уменьшается. В настоящее время 29-й генерал ордена, голландец по национальности, Петер-Ханс Кольенбах избран на этот высокий пост в сентябре 1983 года.

Заканчивая небольшую справку об иезуитах, хочется сказать: «став рабами собственного заблуждения, они остаются верными ему до конца».

Постоянные ночные раздумья над рукописью, каждый вновь открытый источник информации в преломлении к дню сегодняшнему постепенно меняли некоторые версии его взгляда на то или иное событие и на все произведение в целом, что нашло отражение в многочисленных поправках и исправлениях на полях.

В этом читатель может сам воочию убедиться, взглянув на публикуемые здесь фотокопии титульных листов рукописи, к разговору о которых мы еще вернемся.

Своеобразным толчком к написанию романа об иезуитах явилась, несомненно, публикация в журнале «Наш современник» за 1979 год урезанной «Нечистой силы» под названием «У последней черты».

Валентин Саввич мог предполагать, что данное произведение вызовет определенный резонанс, но чтобы до такой степени, как оказалось в реальности, — такого он не ожидал: сначала в бой пошла «тяжелая артиллерия» в лице Суслова и Зимянина, а вслед за ними на Пикуля ополчи-

лась всегда готовая выполнить команду хозяев пресса.

Возникло далекое от джентльменских принципов единоборство: с одной стороны писатель-одиночка, а с другой — целая армия критиков, интерпретирующих все события только с позиций «разрешенного» мировоззрения, что неизменно делало необходимым привлечение в помощники «госпожи фальсификации».

Да и многие собратья по перу открыто и откровенно издевались над писателем, не имевшим не только диплома, но и аттестата зрелости — он для них был «белой вороной».

Отношение к Пикулю и его творчеству резко изменилось. Но сам автор был уверен в правоте своего дела и ни на какие компромиссы с совестью не шел, не сдавался, отстаивал свои взгляды.

Второй немаловажной причиной, толкнувшей Валентина Саввича к этой теме, были «белые пятна» нашей истории. Проникновение иезуитов в Россию представлялось Валентину Саввичу именно таким «пятном».

В обстановке окриков сверху, под постоянным давлением прессы Пикуль чувствовал себя весьма неуютно. На душе было гадко и неспокойно.

«Псы господни». Да такое не напечатают только из-за названия.

Отступив на некоторое время от политической борьбы, изменив на время тактику, Валентин Саввич сел и написал сентиментальный роман «Три возраста Окини-сан», заканчивая который он уже вынашивал идею окунуться в эпоху Ивана Грозного. Все чаще у него возникало желание уйти подальше от действительности, зарыться в глубь веков — именно там Пикуль чувствовал себя спокойно.

– Сейчас хочу взяться за трудный и очень сложный период отечественной истории, который мало отражен в нашей художественной и исторической литературе, — поведал он мне.

— Куда же теперь держишь путь, и кто будет твоим кумиром?

– Моими героями будут иезуиты и опричники. Место действия — Европа, а время — средние века. Посмотри, что есть об иезуитах в том периоде у тебя в библиотеке.

Из отобранных мною восьми книг и продиктованных по телефону, Валентин Саввич попросил принести только пять:

Григулевич И. Крест и меч. , Тонди А. Иезуиты. Ватикан в прошлом и настоящем.

Инфессура. Дневники.

Михневич Д. Очерки из истории католической реакции (иезуиты).

Смотрю запись в дневнике тех времен:

«Валентин Саввич собирает литературу по иезуитам. Были в букинистическом — ничего подходящего не нашли». 23.11.1980.

Однако, пора вернуться к рукописи незавершенного романа, к его титульным листам. Тщательное исследование их представляет, по-моему, определенный интерес.

«ПСЫ ГОСПОДНИ» — печатает Валентин Пикуль на титульном листе название своего произведения и в подзаголовке указывает вид жанра — исторический роман. Вверху эпиграф: «Смерть в одном столетии дарует мне жизнь во всех веках грядущих». Джордано Бруно. (Впоследствии Пикуль ручкой допишет: «Слова перед казнью»).

Идет работа по накоплению и переосмысливанию собранного в голове материала. В какой-то момент задача кажется невыполнимой, и серьезное слово «роман» заменяется на скромное — «рассказ», которое, в свою очередь, спустя некоторое время, уступает место более оптимистичному «повествование».

В 1982 году из глубин веков тема иезуитов

вновь всплывает на поверхность творческой биографии писателя. Если в первый раз он хотел рассказать о зарождении ордена иезуитов и их проникновении сначала в Польшу, а затем в Россию, то на сей раз задача намного усложнялась. Писатель ставит перед собой задачу расширить временные, биографические и исторические рамки произведения, осветить более продолжительный отрезок времени — целый век. «Целый век» — вносит Пикуль новое название и сверху печатает равноценное по смыслу — «столетие».

По сравнению с первым, эти названия звучат более приглушенно и не так резко воздействуют на слух. Этим в некоторой степени нейтральным заголовком автор хотел завуалировать от внешнего мира содержание книги, чтобы облегчить прохождение рукописи по инстанциям, предшествующим публикации.

В 1986 году, едва оправившись от обширного инфаркта, Валентин Саввич вновь берется за свой многострадальный труд. Вернула его к этому книга Андрея Никитина «Точка зрения», которую я принесла ему из библиотеки. Вникнув в тематику книги, писатель полностью влез в нее, отрываясь только для похода на кухню за чаем.

Книга пришлась ему по душе. Читая ее, он

что-то подчеркивал, часто останавливался, раздумывал.

– Талантливый писатель, хорошо знающий и превосходно чувствовавший эпоху. С его выводами я вполне согласен, — заключил он, проштудировав книгу.

Тогда и вынес автор на титульный лист цитату из этой книги: *«Почему мы об этом ничего не знаем?*

А почему мы должны об этом знать?

Можно удивляться, что мы вообще что-то знаем о том времени!»

Однако в дальнейшем, в 1989 году, при очередной доработке рукописи Пикуль уберет цитату «в другую часть». Приходится только сожалеть, что приступить к другой части ему так и не удалось. Он закончил только первую книгу — «На кострах», эпиграфом к которой использовал слова из Евангелия от Матфея. На титульном листе появится и цитата Д. Неру из книги «Взгляд на всемирную историю», но самое существенное — изменение подзаголовка. Теперь жанр произведения определяется автором как историческая панорама. А это означает, что за плечами его создателя стоит нечто существенное.

Существует еще второй титульный лист, ко-

торый автор завел в конце 1989 года. С первого — на него перенесены слова Д. Неру и добавлена цитата из Стефано Инфессура:

«И многое другое рассказывают, о чем я здесь пишу, потому что это, может быть, неправда, а если и правда, то этому трудно поверить».

Но самое интересное — это продолжение поисков названия своего произведения, начинающего постепенно «толстеть».

Первое — «На кострах» — зачеркивается и присваивается как название книге первой, а вместо него появляется целый набор вариантов: «Псы», «Кровь», «Жестокий роман», «Власть — жестокая вещь», «Мрак», «Во мраке крадучись».

Небезынтересно все же проследить за движением писательской мысли. К несчастью, уже остановившейся

Несмотря на множество заголовков произведения, суть его одна — это роман об иезуитах и об опричниках Ивана Грозного.

Почти все книги Валентина Саввича связаны с современностью или написаны под непосредственным влиянием событий сегодняшнего дня. И в этом романе хорошо просматривается связь с современностью. В 80-е годы Пикуль отчетливо видел нарастающие «смуты» в нашем обществе,

что не могло не беспокоить писателя. И чем глубже он проникал в эпоху средневековья, тем больше находил он там штрихов, присущих дню сегодняшнему, тем беспросветней и мрачней были его взгляды на нашу перестройку. Скорее всего, поэтому роман и остался незаконченным, ибо автор предчувствовал бесплодность своих попыток донести до людей свои сокровенные мысли.

— Какое, милый мой, у вас тысячелетие на дворе? — обычно спрашивала я, входя в кабинет Валентина Саввича.

И он охотно делился со мной творческими планами, с радостью делился успехами, огорчался неудачам, читал отрывки и главы уже написанного, рассказывал содержание прочитанных им книг, советовал, а иногда рекомендовал «в обязательном порядке» прочесть тот или иной источник. Изредка контурно очерчивал содержание последующих глав и книг.

На основании этой информированности, оставшихся черновиков и дневниковых записей хочу поделиться с читателями некоторыми мыслями о романе, полностью которого уже никто никогда не прочтет.

В этом произведении Валентин Пикуль ис-

пользует уже примененный им в романе «Честь имею» прием. Обнаруженная рукопись на староиспанском языке приоткрывает многие тайные пружины того времени: хитросплетения политики и войн, роль религии в завоевании мира и в судьбах отдельных людей.

Куэвас — так зовут иезуита, от имени которого ведется повествование, помог автору вжиться в обстановку того далекого времени, проведя его по «тайным иезуитским тропам», чтобы вместе с ним стать свидетелем многих исторических событий.

Хотя сам процесс распространения идей иезуитов не получил в рукописи полного развития (ибо написана только треть романа), однако, и по имеющимся страницам читатель вполне может составить представление о взглядах и целях ордена иезуитов.

Хотелось бы обратить внимание на одну особенность публикуемой рукописи. Разговор пойдет о сравнениях.

Много общих черт нашел автор у короля Филиппа II и Ивана Грозного: «Оба с оригинальной жестокостью не щадили людей, только один мерзавец уничтожал народ с помощью инквизиции, а другой — с помощью опричнины».

Многие слова, вложенные Пикулем в уста своих героев, произносимые из глубины XVI века, звучат потрясающе современно и даже крамольно.

А это уже обличение нашей реальности: «Многие ученые мужи зарабатывали себе научные степени, украшались значками лауреатов и орденами, получали звания академиков потому, что многие из них ценили „подвиги“ Ивана Грозного. Все продались, только один академик Веселовский назвал вещи своими именами, но его не печатали».

По замыслу автора роман должен был состоять из трех книг.

«На кострах» — первая из них. Она охватывает период с момента зарождения ордена иезуитов и до 1583 года — года рождения Валленштейна, поскольку многие страницы романа должны были рассказывать о тридцатилетней войне.

Сделаю небольшое отступление…

Сейчас мы не представляем свою жизнь без картошки. В этой части Валентин Саввич хотел подробно поведать читателю о том, когда и каким образом появился картофель в нашей стране. Написав несколько страниц, автор понял, что рассказ о картофеле уводит его в сторону от основной идеи. Ничуть не сожалея об этом, он

изъял упомянутые страницы, пообещав мне написать со временем миниатюру «Картофельные бунты» (сказал: *«О твоей любимой картошке»).*

«Смутное время» — такой заголовок дал автор второй книге романа. Заголовок немного раскрывает содержание.

В прологе к этой части Валентин Саввич, вводя читателя в повествование, планировал рассказать о разорении России, бегстве людей с насиженных мест и, наконец, появлении Ермака.

А начать книгу Пикуль хотел со смерти Ивана Грозного в 1584 году. Хронологические рамки второй книги должны были охватить период до 1613 года — знаменательного года восхождения на престол рода Романовых.

В планах и набросках третья книга имеет название «Разрушение». Продолжая хронологию предыдущей, третья книга должна была охватить период с 1613 до 1634 года времени убийства Альбрехта Валленштейна. Здесь предусматривалось полностью осветить тридцатилетнюю войну, так мало знакомую по нашей документальной романистике.

«Исторической памяти не противопоказано воображение: важно только, чтобы оно было историческим».

Уверена, что писатель Валентин Пикуль в полной мере обладал и тем и другим.

Приходится только сожалеть, что ему не удалось осуществить задуманный план, но и по представленным главам читатель может судить о том, за какие огромные пласты истории России и Европы брался неутомимый, неугомонный, часто перегибающий палку — в том месте, где хотел ее сломать — Валентин Саввич Пикуль.

Однажды совсем неожиданно сказал:

– Роман «Псы господни» я хочу посвятить памяти Ярослава Галана.

Для меня это сообщение было весьма странным. Я даже не смогла сразу найти подходящий для такого момента вопрос, а Валентин Саввич продолжал свою мысль:

– Для меня он является образцом писателя, труженика, мне импонирует его образ жизнии мыслей, я ощущаю какое-то духовное с ним родство. Не помню, где я вычитал, что при завершении очередной своей вещи в его голове уже созревала мысль о другой. Заметь, у меня получается то же самое. И я считаю это правильным. Если писатель мыслит только об одной теме или книжке, то это, простите, слишком «узколобо». Надо видеть и дальше, и глубже, и выше… А его

смерть… Она потрясла меня. Всякое возможно, кому что на роду написано, но он умер на посту… и я мечтаю умереть с согбенной спиной за рабочим столом…

Эти слова стали пророческими.

Антонина Пикуль

Книга первая
НА КОСТРАХ

Не думайте, что Я пришел принести мир на землю; не мир пришел Я принести, но меч;
Ибо Я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее.
И враги человеку – домашние его.

Евангелие от Матфея.X, 34, 35, 36.

Если встретите сопротивление, то разведите такой костер, чтобы даже у ангелов загорелись ноги и чтобы звезды расплавились на небесах.

Иезуит Форер

ПРОЛОГ
ВСЕ ДОРОГИ ВЕДУТ В РИМ

Его звали Иниго дон Лопец-и-Рекальдо, хотя в истории мира и человеческих отношений он вошел с кратким, но чересчур выразительным именем Игнатий Лойола.

Бедный испанский идальго начинал карьеру в городе Аревале, будучи пажом при дворе кастильского казначея дона Веласко, и писал стихи о своих чувствах к недоступной донье Грасии де-Авила, перед красотой которой все другие женщины выглядели как осколки разбитого зеркала перед сверкающим бриллиантом. Тогда — еще молодой — Лойола рассуждал:

— Как жить без славы? Я хочу, чтобы от Лимы до Толедо восхищались мною, чтобы донья Грасия хоть раз улыбнулась мне в церкви, чтобы вся Кастилия говорила обо мне: «Ах, кто этот загадочный рыцарь? Скорее назовите нам даму его сердца…»

— Молчи, безумец! — остерегали его. — Всякое превосходство над другими приносит несчастье, и не выражай мысли слишком ясно, дабы

не выглядеть грубым невеждой. Лучше говори невнятно, чтобы тебя сочли мудрецом.

Непомерное честолюбие увлекло Лойолу на войну. Ранней весной 1521 года французы вторглись в Наварру, и гарнизон Пампелуны увидел крепость в окружении костров враждебной армии. Мнение испанцев было далеко не рыцарское:

— Французов очень много. Пампелуну не удержать.

Но тут выступил Лойола. С поразительным красноречием он долго услаждал слух офицеров пылкими рассуждениями о неземном блаженстве для всех, кто вручит свое пурпурное сердце пречистой Мадонне, и заключил свою речь словами:

— Молитвами и покаянием приготовим души заранее, дабы утром встретить врагов с высокомерием, подобающим испанцам!

Тонкая заря едва высветлила небеса над сумрачными Пиренеями, когда начальник французов, еще позевывая в железную перчатку, разглядел на валу крепости испанского кавалера со шпагой и молитвенником. Он даже обрадовался ему:

— А вот и первый кастильский невежа, которому всю ночь не лежалось на соломе… Ну-ка!

— велел он артиллерии. — Затолкайте в бомбарду самое тяжелое ядро — сейчас мы из этого глупца сделаем что-либо достойное удивления…

Валганг крепости, восприняв мощный удар, разрушился под Лойолой, а второе ядро раздробило ему правую ногу. С грохотом сыпались камни бастиона, шумно стекала вниз песочная лавина. Нещадно избиваемый камнями и глотая песок, Лойола низвергся с высоты — обвалом стены ему расплющило и левую ногу. Очнулся в плену. Французские врачи перевязали идальго, офицеры любезно осведомились — далек ли его дом от Пампелуны?

— Я из провинции Гвипускоа, — с гордостью отвечал Лойола, — там, высоко в горах басков, находится замок моего знатного рода «Лойола», где я и предстал на суд божий…

Узкими козьими тропами, по самому краю горных ущелий, его долго несли до нищенского замка. Лойола заметил, что правая его нога уродливо скрючилась. Хирурги решили:

— Переделывать поздно — кости уже срослись.

— Так ломайте же их! — велел Иниго…

Изуродованную ногу зажали между досок, ударами молота ее раскололи возле голени. В муках миновало лето. Но однажды, пробуя встать

с постели, Лойола ужаснулся: правая нога стала короче левой, а над коленом нависла безобразная опухоль.

— Ломайте ногу еще раз, — сказал он врачам.

Его оглушили крепким вином, но Лойола все равно слышал хруст своих костей, он ощутил движение ножа, вырезавшего опухоль. Однако, правая нога так и осталась короче левой.

— Вы видели старинный ворот, каким вынимают кувшины с водой из бездонного колодца? — спросил идальго врачей. — Такой же ворот поставим в спальне, и пусть он вытягивает мне ногу.

Привязав себя к кровати, он мученически наблюдал, как вращается колесо, наматывая на себя веревки, которые обхватывали искалеченную ногу. Боль, боль, боль и ничего, кроме боли да скрипа колеса. Все эти муки Лойола выносил со стойкостью перуанского индейца. А весною просил у отца рыцарских романов — для чтения:

— Хотя бы Васко де-Лабейро — об Амадисе Галльском…

Бельтрам дон-Лойола верхом на муле объехал окрестности, но сумел раздобыть для сына лишь две книги духовного содержания. Иниго безразлично полистал ветхие страницы:

— Где же тут подвиги? Все скучно и непонятно… Неясные миражи рыцарской славы и любви капризных красавиц Валенсии и Арагоны иногда еще ярко вспыхивали в фантазии калеки, мало-помалу угасая в бесплодном бессилии. Он все же раскрыл книгу Рудольфа Саксонца о жизни Христа, вникая в мудрость легенд, но в одну из ночей ощутил толчок, будто под ним снова обрушился валганг Пампелуны.

— Что со мною? — спросил он себя, и вдруг весь сжался в экстазе радости от сознания, что ворота к славе, до этого закрытые перед ним, эти жалкие гнилые ворота уже давно сбиты с ржавых петель. — Ведь если святой Франциск, — здраво рассуждал Лойола, — основал орден Францисканцев, а святой Доминик доминиканскую конгрегацию, то почему же я, как и они, не волен стать вождем нового могучего ордена Римской церкви? Разве престол папы не нуждается в псах господних, которые бы изгрызли на острых клыках любую ересь?..

Призывы боевых труб заменили голоса мессы, а земные прелести недоступной Грасии де-Авила он как бы умышленно заслонил перед собой скорбною красотою Мадонны, — так возник новый идеал служения! Нет в мире историка,

который бы не признал, что сила воли этого изуродованного человека была колоссальна… Но ведь нужна еще святость.

— Для этого навещу Иерусалим, — решил Лойола.

В каталонской обители Монтсеррата он оставил у алтаря свои панцири и шпагу. Его путь лежал в Барселону, где царила чума (корабли, идущие на Восток, не покидали гаваней). В доме святой Люции идальго по семь часов не поднимался с колен, трижды в сутки бичуя себя столь безжалостно, что кровь обрызгала стены комнаты. С протянутой рукой он стоял на паперти, взывая к прохожим о милостыне. Лойола перестал мыться, он уже не стриг ногтей, длинные волосы спадали на глаза. К уродству ног прибавилась острая боль в печени и зубная боль, нестерпимая. Ему было так тяжело, что в один из дней он даже хотел выброситься из окна…

Увы, никто не замечал его святости, Свое красноречие он испытал пока на знатных дамах Барселоны, и одна из них, не выдержав укоров в беспутстве, даже упала в длительный обморок, после чего муж этой дамы избил Лойолу палкою, как худую собаку. Из этого случая последовал первый вывод: желая успеха в проповеди, нико-

гда не утверждай, что грех наказуем, а, напротив, старайся оправдать любое прегрешение, и тогда в твоих услугах станут нуждаться многие.

Через год, истомленный жаждой и качкою, после опасного плавания в море, наполненном берберийскими пиратами, Лойола достиг Палестины, желая обращать «неверных» в христианство. Здесь его жестоко высмеял местный нунций-францисканец:

— Таких глупцов, как ты, турки сажают на кол, предварительно смазав его свиным жиром. Сходи на базар — там уже торчат подобные тебе проповедники. На солнцепеке они превратились в пергамент, а мальчишки, пробегая мимо, к великой радости торговцев, раскручивают их на кольях, вроде забавных вертушек, которые трещат на ветру барабанной шкурой…

Лойола вернулся на родину. В городе Алькала-Генарас, где размещался университет, он тайно посещал мавританские молельни, в синагогах беседовал с раввинами. Из верований, чуждых христианству, Иниго выбирал самое характерное, что полезно использовать в практике будущего Ордена (который еще не имел ни устава, ни названия). Первых прозелитов он приобрел из студентов, сам исповедовал их, сам и

причащал. При этом Лойола неделями постился, истязая чахлую плоть, и без того немощную, он покрывал свое немытое тело страстными поцелуями, а потом исступленно бичевал себя слева направо, вдоль и поперек, покрываясь рубцами и кровью…

Инквизиция схватила Лойолу и бросила его в подвал!

Сначала его навестил палач с большими клещами:

— Священному трибуналу известно, что ты, заблудший в ереси, страдаешь зубами. Открой рот пошире — мы спасаем здесь не только души, но умеем облегчать и муки телесные.

С хрустом он выломал из челюсти Лойолы три гнилых зуба, а заодно и четыре здоровых. В трибунале генеральный викарий Родригес откровенно беседовал с Лойолой:

— У меня распухла тюрьма от еретиков, и мне лень заниматься чепухой, которую ты несешь от голода и несчастий, ниспосланных тебе для испытания свыше. Ты подозрителен для церкви, но виноват лишь неумеренным служением Мадонне: выделяя богородицу, не забывай и сына ее, Иисуса Сладчайшего!

А через год Лойолу снова арестовали. С калеки

содрали одежду, нагишом запихнули в бочку с двумя отверстиями: через одно кормили, через другое он оправлял надобности. На столе инквизитора лежало, взятое при обыске, первое сочинение Лойолы по названию «Exercitia Spirituatia» (что означает «Духовные упражнения»). Инквизиторы спросили:

— О чем ты пишешь тут, несчастный?

— Я пишу о том, что каждый человек должен уметь управлять собой, а, научившись этому, он будет управлять другими…

Родригес оплевал его университетский матрикул:

— Твои успехи в науках ничтожны. Где же тебе учиться, если ты, говорят, по три дня подряд сидишь, безмолвно уставившись глазами в стенку, и что-то бормочешь.

— Ваше святейшество, но после личного общения с самой Мадонной, скажите, разве же можно познать что-либо более мудрое из профессорских нотаций? Достаточно, что я мыслю, и меня подводят ноги, но голова никогда!

— Тебя, как петуха в навоз, тянет в ересь.

Лойола храбро защищал себя перед трибуналом:

— Если бы я выразил противоположное тому,

что мною сказано, вы бы все равно нашли повод обвинить меня в ереси.

— А кто позволил тебе отпускать грехи людям?

— Если не отпущу их я, вы их никогда не отпустите.

Тут его стали избивать с криками:

— Не смей возвышать себя над святым порогом Рима!

Палач аккуратно раскаливал на огне клещи, его ученик налаживал лавку для пытки водою. Лойола не сдавался:

— Я еще буду стоять *выше Рима!* — возвестил он. Викарий Родригес устало откинулся в кресле:

— Скажи, ты нарочно притворяешься слабоумным?

— Мое состояние, кажущееся ненормальным, вполне угодно господу Богу. Науке же еще не открыто, как понимать дурной порядок вещей, что окружает нас… Говорить ли мне далее?

— Говори, — ободрил его викарий. — Ведь с каждым словом ты приближаешься к той куче хвороста, на которой во славу божию я превращу тебя в горсть горячего пепла…

Но трибунал, после опроса свидетелей, счел Лойолу фанатиком, помешанным на мистике, которая усилена физическими недугами, и на

этом основании он был выпущен из тюрьмы. От надзора инквизиции Лойола спасался в университете Саламанки, куда увлек за собой и своих учеников. Его страстные проповеди не пошли им на пользу: трое неофитов впали в жестокую меланхолию, один повесился, пятый, заморив себя аскетизмом, превратился в скелет, а другие впали в разные непотребства. Опыт создания монашеского братства закончился ужасно: жизнерадостные саламанские студенты дважды высекли Лойолу от имени двух факультетов — теологии и философии. Публичная экзекуция сопровождалась унизительными сентенциями:

— Философам и богословам противны твои проповеди, после которых страшно пить вино и смотреть на женщин. Будь же ты облачен презрением нашим, как саваном, и да войдет проклятие, как вода, в утробу твою и, как елей, в изломанные кости твои!

Из сечения следовал второй вывод: будущий Орден не должен придерживаться аскетизма монашеского, человеку свойственно давать выход земным страстям. Но тут снова последовал донос в инквизицию на Лойолу как на богомерзкого еретика и совратителя, а потому следовало опять спасаться.

Лойола собрал своих перепуганных адептов:

— Будьте готовы бежать — в Париж! Завтра утром…

Утром он напрасно ожидал у заставы — никто из апостолов не спешил за своим «спасителем». Лойола тронулся в путь один. В дороге он переосмыслил все свое поведение, силясь отыскать причину неудач. Из размышлений сложился третий правильный вывод: если хочешь иметь верных прозелитов, не ищи их среди людей, безвольно подчиняющихся твоей воле, а находи их в личностях с развитым самосознанием, и, только поборов их своим убеждением, можно рассчитывать, что они уверуют в тебя, не предавая таинств твоих…

Игнатию Лойоле было в это время уже 37 лет!

У ворот Парижа его окликнули стражники города:

— Кто ты есть, бедный путник, и с чем идешь?

— Богослов из Саламанки, ищу мудрости в Сорбонне…

Здесь, в средоточии католической философии, Лойола распознал то, что в Испании церковь старалась утаивать. Строительство в Риме знаменитого собора св. Петра затянулось, ибо владыкам Ватикана, утопавшим в роскоши, о какой не

смели мечтать даже короли, не хватало денег. Ватикан пустил в продажу индульгенции, которыми торговали по Европе бродячие капуцины.

— Эй! — вопили они на базарных площадях. — Разве кто из вас не без греха? Или ты ничего в жизни не украл или не соблазнил жену своего приятеля? Так не будь дураком, купи у меня хотя бы одну такую бумажку, дабы познать царство небесное…

Вот тогда в немецком Виттенберге появился мрачный и разгневанный Мартин Лютер с молотком в руке. На вратах церкви он гвоздями приколотил свои 95 тезисов. Лютер не щадил папу, обличая его в разврате и клевете, а все духовенство Рима выставил на всеобщее поругание, как шайку разбойников. Он открыто призывал людей не верить ни единому слову Ватикана, а внимать только своей человеческой совести. Рим — по словам Лютера — никак не может служить посредником между богом и человеком.

— Вам, — убеждал он прихожан, — запрещают читать даже Библию, а вместо этого пьяные попы забивают головы всякой дурью, придуманной самим папой и его кардиналами. Отвернемся же от Рима, как от скверной падали, веря только самому господу Богу…

С этих «тезисов» началось победное шествие Реформации по всем странам. Антипапские учения суровых вождей протестантства отвоевывали у Рима миллионы верующих, а вместе с их душами Ватикан терял и миллионы кошельков, раньше щедро для него открытых. Озабоченная этим расколом католической церкви, теперь профессура Сорбонны открыто вещала с научных кафедр:

— Лютеране уже выбежали за ограду церкви и обратно в наши храмы их не вернуть. Но их можно загнать туда огнем и мечом!

Лойола ходил с помощью двух костылей. Он резко выделялся среди сорбонских школяров: изможденный человек маленького роста (158 см), с некрасивым остреньким личиком, беззубый и рано полысевший; когда его спрашивали, отчего у него нет друзей, нет семьи и сердечных привязанностей, Лойола скромно отвечал:

— На вершинах гор всегда царит одиночество…

Неизменно пребывая в состоянии торжественного спокойствия, он проживал в атмосфере, которую сам же для себя создал и которую старательно населял призрачными галлюцинациями, управляя видениями с той же удивительной легкостью, с какой обыватели передвигают по

комнатам мебель.

На этот раз он учился прилежно, и Сорбонна присвоила ему звание доктора богословских наук. Бывая на диспутах, Лойола сделал для себя еще одно умозаключение: его будущий Орден должен выступать обязательно под знаменами воинствующего католицизма, ополчась противу любой ереси — особенно лютеранской. Но теперь Лойола не спешил заманивать учеников в свои тенета. Он выискивал исключительно скептиков, достаточно познавших жизнь с ее изъянами, находил умеющих мыслить самостоятельно, и лишь немногих приближал к себе.

Однако ни с кем из своих учеников Лойола не вступал в дружбу, заранее отгородясь от них ролью вождя, отчего Франциск Ксавье однажды и заметил ему с явным упреком:

— Христос был доверительнее со своими апостолами.

— Верно! — согласился Лойола. — Но зато он и был предан Иудою за тридцать сребренников.

Монмартр в те далекие времена еще не был заселен парижанами, над ним шумел вековечный лес, в гущах которого приютилась скромная капелла св. Дионисия. Сюда, в этот лес, 15 августа 1534 года пришел Иниго Лойола и привел

за собой адептов своих. Была отслужена месса, а Лойола, раздавая причастие, взял с учеников священную клятву в верности папе римскому и… лично ему — Лойоле! Затем меж ними была Тайная вечеря, а Лойола сидел, как Иисус Христос между апостолами.

Он разлил вино и разломил хлеб на куски.

— Иуды средь нас не сыщется! — возвестил он. — А все дороги ведут в Рим, дабы получить благословение папы на создание нового Ордена.

Ученики спрашивали его, как называться Ордену:

— Наверное, лучше ему называться «Игнацианским»?

— Нет, лучше ему называться «Обществом Иисуса»… От слова Iesu (Иисус) и родилось новое слово: иезуиты. Появясь в Риме, первые иезуиты дежурили по ночам в госпиталях, не боясь заразных болезней, бесплатно выкапывали могилы для бедняков, открыли приют для сирот и подкидышей. Лойола открыл особую миссию для крещения иудеев, а в обители святой Марфы щедро отпускал все грехи проституткам, желавшим выйти замуж. Своим адептам он внушал, что нужен момент:

— Когда мы станем всем для всех, дабы завое-

вать всех… Папа римский Павел III (из династии Фарнезе) ознакомился с планами будущего ордена Лойолы и воскликнул:

— Какие же это монахи? Это, скорее, псы господни, которые будут беречь меня, наместника божия…

Орден иезуитов был утвержден папою в 1540 году (за несколько лет до смерти Мартина Лютера). При этом ни одна кошка в Европе не пошевелилась, но судьба миллионов людей была решена с появлением «псов господних», которые быстро разбегались по всему миру.

Что же мне, автору, остается делать?

Желая остаться искренним и достоверным в своих описаниях, наверное, я должен и сам обратиться в иезуита.

Подобно своему учителю Иниго Лойоле, я на развилке дорог между Валенсией и Каталонией, там, где презренный мавр был сожжен за оскорбление короля, отпускаю поводья своего усталого мула — пусть он сам изберет для меня дорогу.

Глупое животное, повинуясь внушениям свыше, завезло меня к воротам обители Монтсеррата, и там, у священного алтаря, я увидел панцирь и шпагу, которые оставил здесь Лойола, чтобы поклоняться пречистой Мадонне…

Так я оказался в гиблом шестнадцатом столетьи.

1
МОЯ ЛЮБОВЬ – МОЯ ЕВРОПА

Я родился под знаком единения Сатурна с Марсом, когда гороскопы указывали явное безразличие Меркурия к делам земным, отчего астрологи Бамберга и Саламанки предсказывали падение нравов и торговли, оживление плутовства и еретического чародейства. Так и случилось! Только в Валенсии сожгли сразу сорок монахинь заодно с их канониссой, которая 483 раза совокуплялась с инкубом, имевшим голову козла, получая от него невыразимое наслаждение.

Тогда же было замечено, что в Тулузе развелось множество черных котов, яростно вырывавшихся из рук истинно верующих, а в Авиньоне, славном ученостью, появились странные вдовы, которые с нескромными песнями залезали на высокие деревья, но спускались на землю вниз головами, как ящеры. Меркурий на все ухищрения Сатаны взирал равнодушно, и только вмешательство инквизиции спасло несчастную Бургундию, где пришлось распалить костры сразу на девятьсот персон, средь которых были даже пятилетние

девочки, — и все они, после пытки водой и огнем, смиренно покаялись в тех невыразимых мерзостях, которые они творили в каждое новолуние, общаясь с дьяволом…

Впереди я вижу только могилу свою и себя в ней — там вечная тишина, в которой отсутствуют даже воспоминания. Оглядываясь же назад, я опять вижу себя, но еще молодым, все было исполнено движения, треска полыхающих костров и стука бранных мечей. Увы, мой путь завершен! Как сказано в древней греческой эпитафии: «Я обрел пристанище. Простите, надежды и счастье. Ничего уже нет у меня с вами общего. Теперь обманывайте других!» Смиренно выжидая смертного часа, предамся последней радости — воспоминаниям…

Думал ли я, появясь на свет божий, что на моих же глазах исполнится пророчество от Исайи: «Цари и царицы лицом до земли будут кланяться тебе и лизать прах ног твоих. Будешь насыщаться молоком народов земных и груди царские сосать станешь. И люди твои навек наследуют эту землю…»

Примерно так начинается эта ветхая рукопись; я говорю примерно, ибо, писанная на староиспанском языке, она оказалась очень трудна для

перевода на русский. Из рукописи мне стало известно, что ее автор — видный иезуит — был отлично извещен во многих тайнах своего времени. Каталонец происхождением, он, как это и водилось среди испанских дворян-идальго, имел длинную, даже замысловатую фамилию, но мы будем называть его кратко — К у э в а с!

Он нашел успокоение в иезуитских колониях Парагвая, и многое расскажет о себе сам. Но мне, автору, надобно совместить самого себя с мировоззрением своего героя, дабы объяснить читателю реальную обстановку в Европе, о которой иезуит — по сути своего ремесла — не везде сказал правду. Таким образом, мне придется следовать за Куэвасом тайными иезуитскими тропами, заводящими меня в дремучие дебри невежества и просвещения, войн и политики. Как и моему герою, мне предстояло вжиться в ту эпоху, которая для Куэваса была его временем, а для меня там все исполнено загадок и трагических недомолвок…

Но прежде всего нам следует навестить старушку Европу!

Конечно, древнюю Европу можно и ненавидеть.

Но лучше будем ее беречь, понимать и любить.

Для нас, европейцев, она, пусть даже проклинаемая, вечно останется нашей общей матерью, и судьба ее — это наша общая судьба, это храмы и кладбища предков, это наши корни, уходящие в глубину веков. Но именно туда, в эту загадочную пропасть былого, жутко заглядывать нам, живущим сегодня. В торжественных залах Лувра, Эрмитажа, Прадо, пинакотеках Мюнхена или Дрездена мы стараемся вникнуть в портреты предков… Люди, неужели вы жили, как мы?

А какие вы были? Лучше нас? Или хуже нас?

Нелегко вживаться в прошлое и пытаться думать, как мыслили задолго до меня, чтобы понять непонятное, чтобы полюбить ненавистное. Люди, давно истлевшие, были никак не глупее нас, читатель. Правда, они не знали того, что знаем теперь мы, но зато мы не знаем того, что знали они…

Екатерине Медичи, дочери флорентийского герцога, было 14 лет, когда папа римский Климент VII, сам будучи из рода Медичи, устроил ей выгодный брак с Генрихом, дофином Франции. Девочка, уже славная в Италии своим распутством, повезла в Париж коллекцию уникальных ядов для будущих недругов и хорошую библиотеку, в которой были книги об архитектуре и

лечении любострастной болезни, которая тогда называлась «неаполитанской», а позже именовали «французской». В дороге она перечитала «Пророчества Сибиллы», руководство по игре в шахматы и морской навигации, изучила научный трактат «Об искусстве иметь красивых детей». Опасаясь за темперамент племянницы, папа римский сам и довез невесту до Марселя, где со вздохом облегчения сдал ее на руки дофину. Духовник будущей королевы Франции был очень удивлен, что в обширном багаже знатной флорентийки не нашлось местечка для молитвенника.

Но девочка показала ему «Принципы» Макиавелли:

— Разве это не заменит мне Библии? — спросила она…

Вернувшись в Рим, папа малость покряхтел и умер от яда. В таких случаях кардиналы не сомневаются, что отравление выгодно тому, кто займет свободный престол наместника божия. Но Александр Фарнезе отказывался от папской тиары, говоря, что не сегодня, так завтра умрет. Он занимался астрологией и некромантией, окруженный дымом алхимиков, призраками магии и похабными памфлетами. Вот его и выбрали в папы, ибо никто из конклава не рассчитывал, что

он долго протянет. С новым именем папы Павла III Александр Фарнезе моментально выздоровел. Он жил со своей дочерью Констанцией Фарнезе, и сын его, таким образом, доводился ему родным племянником; не разобравшись в собственной генеалогии, он блудил еще и с матерью, которая официально считалась его родной сестрою… Дорогой читатель, никогда не пытайся разобраться в генеалогии таких родов, как Борджиа, Сфорца, Медичи, Фарнезе, Гонзаго и прочих, — ты обязательно запутаешься, как запутывались и они сами! Недаром же в пасквильной эпитафии Лукреции Борджиа было сказано четко, а, вернее, совсем нечетко: «Она приходилась папе Александру дочерью, женой и невесткой».

Политические альянсы между государствами достигались тогда чаще всего посредством выгодных браков, обручений, помолвок. Семейные узы считались гарантией прочности союза. Павел III сосватал своего внука Оттавио с Маргаритой, приблудной дочерью германского императора Карла V; другого внука Орацио женил на побочной дочери Генриха II, короля французского. Именно он утвердил Орден «псов господних», чтобы своим рычанием они устрашили «еретиков»; это он распалил костры инквизиции до небес. Распутник и

обжора, папа с помощью пальцев извергал свою трапезу, чтобы снова усесться за стол. Обглоданные кости он щедро швырял в мешок:

— Мы их продадим дуракам, как мощи святых…

В политике, как и в любви, самые сложные вопросы разрешались с помощью ядов, секреты которых ныне утеряны. Яд мог поразить человека моментально и мог годами разлагать его заживо; в Европе, как и в Китае, был известен удивительный яд, который человека нормального роста постепенно превращал в карлика. В этом деле бывали и великие мастера! Цезарь Борджиа, разрезав пополам персик, половину его съедал сам, а потом выражал удивление, отчего умер его приятель, вкусивший от другой половинки персика. Здесь уже виден подлинный талант. Большой талант искусного отравителя…

На Руси правила вдовая литвинка Елена Глинская — умная, образованная женщина, которая из духоты московских теремов — первой! — осмелилась выйти на арену политической жизни. Воевала с королем Сигизмундом из-за Смоленска, провела денежную реформу в стране, окружала рубежи поспешным созданием крепостей, жестоко подавляя любое недовольство бояр. При

ней многие были сосланы, удавлены в тюрьмах, задушены дымом, погублены голодом, а иные просто разбежались, куда глаза глядят. Елена Глинская и открыла тот страшный синодик убиенных и замученных, который вскоре допишет ее сын — царь Иван IV Васильевич, по прозванию — Иван Грозный…

Глинская умерла молодой. И тоже от яда!

Европа! А какая она была тогда, эта Европа?

Дороги сохранились еще от римлян, имея стандартную ширину — чтобы проехал всадник, держа копье поперек седла.

По этим дорогам история двигалась неторопливо.

История тех времен — нескончаемая хроника уголовных преступлений королей, курфюрстов, герцогов, маркграфов, пап, епископов и кардиналов. И чем больше пролито ими крови, тем больше надежд сохранить свое имя в анналах истории. Убийство редко бывало случайностью, а зрело обдуманным предприятием ради личных выгод, сама же «идея» массовых преступлений дала богатую пищу для будущих социологов, которые измучились в пыли архивов, не в силах догадаться о целях преступления.

Виноградные лозы Вакха переплели заодно

древность Италии и Франции, они опутали и берега Рейна. Европа не знала водки, но вина пили много. Общественной гигиены еще не знали. Кучи мусора и навоза гнили на улицах, помои выплескивались из окон на головы прохожих. Будки уборных, подобно скворечникам, нависали над реками, и путник, проплывая на лодке, невольно созерцал выставленные напоказ дряхлые задницы стариков и румяные ягодицы невест. Пыль на дорожках, поднятая скачущим всадником, была единственным фактором загрязнения природы, об экологических бедствиях никто и не думал…

Самое опасное время — на стыках истории, но различные эпохи никогда не имеют четких рубежей; они размываются временем, как топкие берега приливами и отливами. На широком полотне Возрождения живописцы выписывали сочные картины гармонии человеческого счастья, а Средневековье еще удушало людей в траурных одеждах, восхваляя бледную немочь страданий и молитвенных бдений. Всюду полыхали костры инквизиции и кричали заживо сгоравшие люди, — две эпохи пока что смыкались одна с другою, и бывало так, что тиран, забрызганный кровью, венчал золотыми лаврами голову поэта, воспевающего великое благо свободы.

Европа жила в постоянном напряжении, средь военных кровопролитий, массовых казней и страшных эпидемий, выжиравших страны и города до полного оскудения и безлюдия, когда в опустевших домах поселялись волки и барсуки, а люди прятались в лесах, как звери. Общественная жизнь была проста: человек редко выбивался из своего круга. Но зато сама жизнь требовала небывалого напряжения сил, физических и духовных. Имеющий малые способности развивал их до степени таланта, а талант в неустанном труде восходил к величию гения. Срок жизни был невелик: труд и распутство превосходили всякие меры, и потому человек чаще умирал молодым. Не оттого ли столь сильны были страсти, не потому ли дрались на турнирах, как львы, отбивая перчатку дамы, которая практически мужчине и не нужна. Люди торопились жить и любить, поцелуи женщин, пахнущих острым мускусом, бывали почти болезненны, как укусы рептилий.

Свободна была природа ее леса, реки, звери и птицы, но человек не был свободен. Европа шумела первобытными дубравами, а за каждым кустом можно было ожидать зверя или разбойника. Даже в больших городах человек жил в постоянном страхе. Люди ходили по улицам с

опаскою, испуганно озираясь. Частные дома но ночам запирались, как осажденные крепости. Большое количество слуг и дармоедов — это не признак роскоши, а результат страха. Люди были нужны, чтобы отбить нападение грабителей. В жилищах делали узкие окна, похожие на бойницы, чтобы отстреливаться, сооружали глубокие подземелья, чтобы в них прятаться. Черная магия и ворожба соседствовали с идеями свободомыслия. Города Европы были переполнены хиромантами, шарлатанами, чародеями, алхимиками и продавцами чудесного эликсира вечной молодости… Всем хотелось жить долго, дабы узнать, что будет завтра.

Разврат был узаконен. Даже в священном Риме проститутки, одетые с вызывающей роскошью, уже не таились дневного света. Для отличия от порядочных женщин они красили волосы в желтый цвет, а на левой стороне груди носили золотой аксельбант (что означало: мое сердце принадлежит всем!). Папа Сикст IV, устроитель Сикстинской капеллы, ввел в Ватикан куртизанку Фульгору: она заразила папу, всех его сыновей, всех его кардиналов, а опытные врачи утверждали, что подобные болезни лучше всего излечиваются шоколадом…

Подлечившись Сикст IV увлекся созданием публичных лупанариев, после чего подвел калькуляцию своих доходов:

— Матерь божия! — возликовал он. — Да ни один монастырь с виноградниками не приносит столько прибылей, сколько способны заработать за одну ночь три здоровущие кобылы.

Публичные дома в ту пору европейской истории считались самым надежным убежищем: убийцы спасались там от ареста, а должники прятались от кредиторов; жены не имели права вытаскивать оттуда своих мужей, а Ватикан общение с проституткой не считал прелюбодеянием. Но евреев в лупанарии не пускали; если уж какой храбрец и проникал туда под видом христианина, то заканчивал жизнь в тюрьме на соломе…

В ответ на грязный разврат Ватикана лютеране северной Европы провозгласили в церквях закон воздержания:

— Дважды в неделю, и этого вполне хватит!

Из Женевы отозвались еретики-кальвинисты:

— Нам достаточно и одного раза в месяц…

Папа думал иначе. Однажды его навестили римские куртизанки с жалобой на великий пост, во время которого неизвестно, сколько раз можно

грешить, и папа оказался щедрее:

— Да сколько хотите, мои ласточки! Лишь бы вы не забывали платить налог на благо процветания церкви…

Пороки, как явление социальное, тоже вписываются в историю Европы заодно с вопросами верования. Религия в те времена была не только культом веры, она заменяла людям мировоззрение и все понимание жизни насущной, вплоть до мельчайших пустяков, на постулатах веры созидались философия и законы судебного права. Следовательно, люди того времени верили в бога, как в вершителя своих судеб, не потому, что они были круглыми дураками, а потому, что от религии зависели насущные вопросы их личной и общественной жизни.

Жил в том времени удивительный человек, монах и циник, по имени Франсуа Рабле, который не боялся ни людей, ни бога, ни черта, а верил только в кружку с вином и кусок мяса; все святое, что проповедовала церковь, он утащил в придорожный кабак и там пропил под хохот всей Европы, которая признала его великое бессмертие. Для меня всегда останется загадкой, почему Рабле, осмеявший папу и его церковников, избежал костров инквизиции. Зато инквизиция сжигала

его книги, а сам он встретил смерть циничным хохотом:

— Отправляюсь искать великое «может быть»!

Кажется, пришел момент, чтобы снова развернуть старинную рукопись безвестного для нас Куэваса…

Слабеющей рукой я пишу эти строки в Парагвае, куда меня отправили умирать, убедившись в моей дряхлости и неспособности обманывать так, как умел обманывать только я.

Я забыл год, когда издал свой первый крик, но хорошо помню, что в нашем бедном доме четки стали моей первой игрушкой. Испанией правил благочестивейший Филипп II, королем Франции был Генрих III Валуа, в Англии царила неисправимая еретичка Елизавета I, императором германским был Рудольф II, прочно сидевший в Вене, на польском престоле умирал Сигизмунд Старый, женатый на Боне из миланской династии Сфорца, а в презренной Московии царствовал Хуан-дон-Базилио (Иван Васильевич) по прозванию Грозный…

Все уже нашли свое место в сырой земле, и один только я еще проделываю свой путь. Наш великий учитель, принявший блаженство от щедрот Рима, был еще жив, когда его божественный

перст указывал нам, псам господним, дорогу на Восток, где клубились грозовые тучи над Речью Посполитой, где заметало вьюгами древнюю землю варваров-московитов. Польское панство в безумии своем уже напиталось ядом речей от безбожного Лютера, а русские цари в неразумении язычества своего византийского отвергали святое причастие из рук наместника божия в Риме…

Именно этот «перст» Иниго Лойолы теперь указывает мне навестить Полонию и Московию. Но прежде чем отправиться в дальний путь, я затвердил главную заповедь той эпохи, в которой мне предстояло казниться самому и казнить других:

— Кто много болтает — закончит жизнь гребцом на мальтийских галерах, кто дерзает писать книги — тому быть повешенным, а кто помалкивает, ни во что не вмешиваясь, тот до самой смерти всегда останется подозрителен для священной инквизиции!

2
ДОРОГА В МОСКОВИЮ

Себастьян Кабот был уже стар. В жизни этого человека, картографа и мореплавателя, было все — и даже тюремные цепи, в которые его, как и Христофора Колумба, заковывали испанские короли. Кабот много плавал — там, где европейцы еще не плавали. Навестив холодные воды Ньюфаундленда, кишащие жирной треской, он дал европейцам вкусную дешевую рыбу, которую охотно поедали короли и нищие. Но сам-то Кабот ошибочно решил, что открыл… Китай! Впрочем, и Колумб, открывший Америку, твердо верил, что попал… в Индию!

Познание мира давалось человечеству с трудом.

Ныне платье Кабота украшал пышный мех, на груди его висела тяжелая золотая цепь. Пылкий уроженец Италии, он служил королям Англии, которая еще не стала могучей морской державой, лондонские купцы алчно завидовали испанцам, этим вездесущим идальго, отличным морякам и кровожадным конкистадорам. Кабот препо-

давал космографию юному королю Эдуарду VI, драгоценным перстнем он стучал по мифическим картам, где все еще было неясно, туманно, таинственно.

— Вашему величеству, — утверждал он, — следует искать новые пути на Восток, куда еще не успели забраться пропахшие чесноком испанцы, пронырливые, будто корабельные крысы. Если мы поплывем на север, то, стоит нам пробиться через льды, и мы сразу попадем в царство вечной весны, которое освещено незакатным солнцем. Там люди еще не знают, что они ходят по земле, наполненной золотом и драгоценными камнями…

Англия верила в существование загадочной Полярной империи; Эдуард VI даже составлял послания к властелину райской державы, которой никогда не существовало. Лондонские негоцианты посетили королевские конюшни, где за лошадьми ухаживали два татарина. Их спрашивали — какие дороги ведут в Татарию и какие в «Катай» (Китай), где расположен легендарный город «Камбалук» (Пекин)? Но татары-конюхи успели в Лондоне спиться, в чем они весело и сознались:

— От пьянства мы позабыли, что знали рань-

ше…

Наслушавшись пламенных речей Кабота, купцы образовали компанию, для которой купили три корабля. В начальники экспедиции был выбран Хуго Уиллоуби за его высокий рост, а пилотом (штурманом) эскадры назначили Ричарда Ченслера — за его большой ум и длинную бороду. Себастьян Кабот лично составил инструкцию, в которой просил моряков не обижать жителей, какие встретятся в неизвестных странах, не издеваться над чуждыми обычаями и нравами, а привлекать «дикарей» ласковым обращением. По тем временам, когда язычников убивали всех подряд, уничтожая их древние цивилизации, инструкция Кабота казалась шедевром гуманности. Не были им забыты и команды кораблей: «Не должны быть терпимы сквернословие, непристойные рассказы, равно как и игра в кости, карты и иные дьявольские игры… Библию и толкования ее следует читать с благочестивым христианским смирением», — наставлял моряков Кабот.

В мае 1553 года Лондон прощался с кораблями сэра Уиллоуби, матросы были обряжены в голубые костюмы, береговые трактиры на Темзе чествовали экипажи дармовой выпивкой, народ кричал хвалу смельчакам, возле Гринвича кораб-

ли салютовали дворцу короля, придворные дамы махали им платками из окон…

Прошел только один год, и русские поморы, ловившие рыбу у берегов Мурмана, случайно зашли в устье речки Варзины; здесь они увидели два корабля, стоящие на якорях. Но никто не вылез из люков на палубы, из печей камбузов не курился дым, не пролаяли корабельные спаниели. Поморы спустились внутрь кораблей, где хранились товары. Среди свертков сукна и бочек с мылом лежали закостеневшие в стуже мертвецы, а в салоне сидел рослый Хуго Уиллоуби — тоже мертвый; перед ним лежал раскрытый журнал, из которого стало ясно — в январе 1554 года все они были еще живы и надеялись на лучшее… Их погубил не голод, ибо в трюмах было полно всякой еды; их истребили тоска, морозы, безлюдье, отчаянье…

Поморы поступили очень благородно.

— Робяты! — велел старик-кормщик. — Ни единого листочка не шевельни, никоего покойничка не колыхни. И на товары чужие не зарься; от краденого добра добра не бывает…

В объятиях стужи законсервировались лишь два корабля. Но средь них не было третьего — «Бонавентуре», на котором плыл умный и

энергичный сэр Ричард Ченслер (пилот эскадры). «Бонавентуре» в переводе на русский означает «Добрая Удача».

Сильный шторм возле Лафонтенов разлучил «Бонавентуре» с кораблями Уиллоуби; в норвежской крепости Вардегауз, что принадлежала короне датского короля, была заранее предусмотрена встреча кораблей после бури. Но Ченслер напрасно томился тут целую неделю, потом сказал штурману:

— Барроу! Я думаю, купцы Сити не затем же вкладывали деньги в наши товары, чтобы мы берегли свои паруса.

— Я такого же мнения о купцах, — согласился Барроу. — Вперед, сэр, а рваные паруса — признак смелости…

Огибая Скандинавию, Ченслер приметил конечный мыс Европы, которому и дал название — *Нордкап!* Мясо давно загнило, насыщая трюмы зловонием, а течь в бортах корабля совпала с течью из бочек, из которых вытекали вино и пиво. Ветер трепал длиннющую бороду Ченслера, и он спрятал ее за воротник рубашки. Справа по борту открылся узкий пролив, через который англичане вошли в Белое море (ничего не ведая о нем, ибо на картах Себастьяна Кабота здесь была

показана *пустота.* Плыли дальше, пока матрос из мачтовой «бочки» не прогорланил:

— Люди! Я вижу людей, эти люди похожи на нас… «Двинская Летопись» беспристрастно отметила: «Прииде корабль с моря на устье Двины реки и обославься: приехали на Холмогоры в малых судах от английского короля Эдварда посол Рыцарт, а с ним гости». Архангельска еще не существовало, но близ Холмогор дымили деревни, на зеленых пожнях паслись тучные стада, голосили по утрам петухи, а кошки поморов признавали только одну рыбку — перламутровую сёмгу. В сенях крестьянских изб стояли бочки с квасами и сливочным маслом; завернутые в чистые полотенца, под иконами свято береглись рукописные книги «древнего благочестия» (признак грамотности поморов). Для англичан все это казалось сказкой.

— Как велика ваша страна и где же ее пределы, каковы богатства и кто у вас королем? — спрашивали они.

Поморы отвечали, что страна их называется Русью или Московией, у нее нет пределов, которые теряются в лесах, степях и тундрах, а правит ими царь Иван Васильевич. Ченслер, общаясь с русскими, вел себя крайне любезно, предлагая

для торга свои товары: грубое сукно, башмаки из кожи, мыло и восковые свечи. Русские могли бы предложить англичанам товаров побольше и побогаче. Они обкормили экипаж «Бонавентуре» блинами, сметаной и пирогами с тресковой печенью, однако торговать опасались:

— Нам, батюшка, без указа Москвы того нельзя…

Воевода уже послал гонца к царю. Ричард Ченслер убеждал воеводу, что король Эдуард VI направил его для искания дружбы с царем московским. Очевидно, он поступал вполне разумно, самозванно выдавая себя за посла Англии.

— Я должен видеть вашего короля Иоанна в Москве! — твердил он воеводе. — Не задерживайте меня, иначе я сам поеду…

Укрытый от мороза шубами, Ченслер покатил в Москву санным поездом, все замечая на своем пути. В дороге между Вологдой и Ярославлем его поразило множество селений, «которые так полны народа, что удивительно смотреть на них. Земля вся хорошо засевается хлебом, который жители везут в Москву в таком громадном количестве, что это кажется удивительным. Каждое утро вы можете встретить до восьмисот саней, едущих с хлебом, а некоторые с рыбой… Сама же

Москва очень велика! Я считаю, что этот город в целом больше Лондона с его предместьями». Ченслер стал первым англичанином, увидевшим Москву, а два корабля Уиллоуби, найденные поморами, были отправлены в Англию вместе с прахом погибших. Но они пропали безвестно. Так пропали, как пропадали и тысячи других… Таково было время!

Иван Грозный еще не был… грозным! Страна его, как верно заметил Ченслер, была исполнена довольства, города в провинции процветали, народ еще не познал ужасов опричнины.

После разрушения Казанского ханства следовало завершить поход на Астрахань, дабы все течение Волги-кормилицы обратить на пользу молодого, растущего государства; в уме Ивана IV уже зарождалась война с Ливонией — ради открытия портов балтийских. Россия тогда буквально задыхалась в торговой и политической изоляции: с юга старинные шляхи перекрыли кордонами крымские татары, а древние ганзейские пути Балтики стерегли ливонцы и шведы… Потому-то, узнав о прибытии к Холмогорам английского корабля, царь обрадовался.

— Товары аглицкие покупать, свои продавать… После же брата моего, короля Эдварда, встретить

желательно!

Ченслер застал Москву деревянной, всю в рощах и садах, осыпанных хрустким инеем. Из слюдяных окошек терема он видел, как в прорубях полощут белье бабы, топятся по берегам реки дымные бани, возле лавок толчется гулящий народ, каменная громада Кремля была преобильно насыщена кудрявыми луковицами храмов, висячими галереями, с богато изукрашенных крылечек пологие лестницы вели в палаты хором царских…

Иван IV принял Ченслера на престоле, в одеждах, покрытых «листовым золотом», с короною на голове, с жезлом в правой руке. Он принял от «пилота» грамоту, в которой Эдуард VI просил покровительства для своих мореплавателей.

— Здоров ли мой брат, король Эдвард? — был его вопрос (а «братьями» тогда величали друг друга все монархи мира).

Ченслер отвечал, что в Гринвиче король не вышел из дворца, дабы проститься с моряками, ибо недужил, но, вернувшись в Лондон, они надеятся застать его в добром здравии.

— Я стану писать ему, — кивнул Иван Васильевич… После чего посла звали к застолью; «число обедавших, — сообщал Ченслер, — было

около двухсот, и каждому подавали на золотой посуде». Даже кости, что оставались для собак, бояре швыряли на золотые подносы, убранные драгоценными камнями. Иван IV сидел на престольном возвышении во главе стола, зорко всех озирая, каждого из двухсот гостей точно называл по имени. Ченслеру, как и другим, был подан ломоть ржаного хлеба, при этом ему было сказано:

— Иван Васильевич, царь Русский и великий князь Московский, жалует тебя хлебом из ручек своих…

Большие кубки осушались единым махом, но, выпив, бояре тут же крестили свои грешные уста, заросшие широкими бородищами. А борода Ченслера была очень узкой и длинной, как у волшебного кудесника. Пир завершился в час ночи, а царь, по словам Ченслера, возлюбил его «за ум и длинную бороду».

Ранней весной он сказал ему:

— Езжай до короля своего и скажи, что я рад дружбу с ним иметь. Пусть купцов шлет — для торга, пусть рудознатцы едут железа искати, живописцы разные… Всех приму!

Ченслер отплыл на родину. Уже в виду берегов Англии на «Бонавентуре» напали фламандские пираты. С воплями они вцепились в корабль

абордажными «кошками», и вмиг разграбили все русские товары, расхитили подарки от русского царя, — спасибо, что хоть в живых оставили… На родине англичан ждали перемены: Эдуард VI умер, на престол взошла Мария Тюдор («Кровавая») со своим мужем — Филиппом II, королем испанским. В стране началась католическая реакция: протестантам рубили головы, людей сжигали на кострах.

Россия, стиснутая между татарами и ливонцами, еще оставалась для Европы terra incognita (загадочной землей), и Филипп II не совсем-то верил рассказам Ченслера:

— Мы лучше знаем могучую Ливонию, но у нас темно в глазах от ужаса, когда мы слышим о варварской Московии.

— Так ли уж богата Русь? — допытывалась королева. — Стоит ли нам связывать себя с нею альянсом дружественным, если выгод торговых иметь не будем?

Ченслер поклонился, бородою коснувшись пола.

— О, превосходнейшая королева! — отвечал он. — Мнение Европы о Московии ошибочно, это удивительная страна, где люди рожают много детей, у них обильная конница и грозные пушки.

Согласитесь со мною: если бы Московия осознала свое могущество, никому бы с нею не совладать.

Коронованные изуверы рассудили здраво: Англия вела войны с Францией, а Россия ополчается против Ливонии, — в этом случае Англии полезно дружить с Россией, а торговые сделки купцов скрепляют узы политические. Себастьян Кабот тоже понимал это, и потому почтенный старец не слишком-то огорчился от того, что, вместо легендарного «Камбалука» (Пекина), Ченслера занесло в Москву.

Королевской хартией в феврале 1555 года Мария Тюдор образовала «МОСКОВСКУЮ КОМПАНИЮ», которую стал возглавлять Себастьян Кабот. Старику было уже больше восьмидесяти лет, но, когда Ченслер грузил корабли для нового рейса в Россию, Кабот здорово подвыпил в трактире с матросами. На зеленой лужайке он даже пустился в пляс, и золотая цепь венецианского патриция болталась на его шее, как маятник.

На этот раз Ченслер прибыл в Москву персоной официальной, Иван IV был рад снова увидеть Ченслера, а его свиту «торжественно провезли по Москве в сопровождении дворян и привезли в замок (Кремль), наполненный народом… они (англичане) прошли разные комнаты, где были

собраны напоказ престарелые лица важного вида, все в длинных одеждах разных цветов, в золоте, в парче и пурпуре. Это оказались не придворные, а почтенные московитяне, местные жители и уважаемые купцы…»

Англичан именовали так: «гости корабельские».

После угощенья светлым, хмельным медом царь взял Ричарда Ченслера за бороду и показал ее митрополиту всея Руси:

— Во, борода-то какова! Видал ли еще где такую?

— Борода — дар божий, — смиренно отвечал владыка…

Бороду Ченслера тогда же измерили: она была в 5 футов и 2 дюйма (если кому хочется, пусть сам переведет эти футы и дюймы в привычные сантиметры). Иван Васильевич велел негоциантам вступить в торги с купцами русскими, а Ченслеру сказал:

— За морями бурными и студеными, за лесами дремучими и топями непролазными — пусть всяк ведает! — живет народ добрый и ласковый, едино лишь о союзах верных печется… С тобою вместе я теперь посла своего отправлю в королевство Аглицкое, уж ты, Рыцарь Ченслер, в море-то

его побереги.

Посла звали Осип Григорьевич по прозванию Непея, он был вологжанин, а моря никогда не видывал. Посол плакал:

— Да не умею плавать-то я… боюсь!

— Все не умеют. Однако, плавают, — рассудил царь. Ричард Ченслер утешал посла московского:

— Смотрите на меня: дома я оставил молодую жену и двух малолетних сыновей. Я не хочу иметь свою жену вдовою, а детей сиротами… Со мною разве можно бояться?

Буря уничтожила три его корабля, а возле берегов Шотландии на корабль Ченслера обрушился шквал.

«Бонавентуре» жестоко разбило на острых камнях.

Ченслер, отличный пловец, нашел смерть в море.

Осип Непея, совсем неумевший плавать, спасся… Местные жители сняли с камней полузахлебнувшегося посла Московии.

— Теперь вы дома, — утешали они его.

— Это вы дома, — отвечал Непея, — а мне-то до родимого дома вдругорядь плыть надо, и пощады от морей нету…

С большим почетом он был принят в Вестмин-

стерском дворце. Довольная льготами, что дали английским негоциантам в России, королева предоставила такие же льготы в Англии и для русских «гостей»: им отвели в Лондоне обширные амбары, избавили от пошлин, обещали охрану от расхищения товаров.

Осип Непея отплыл на родину в обществе английских мастеров, аптекарей, художников и рудознатцев, пожелавших жить в России и трудиться ради ее пользы и украшения.

…Красная площадь немыслима без яркого храма Василия Блаженного, а Ричард Ченслер сам видел, как Иван IV закладывал эту церковь в ознаменование своего похода против Казанского ханства. Храм строился гораздо быстрее, нежели созидался в Риме собор св. Петра, и русский царь не прибегал к помощи индульгенций, отпускающих грехи россиянам. А для торговли с англичанами в устье Северной Двины появился славный город Архангельск, без которого мы уже не мыслим существование нашего государства…

В это же время иезуиты появились в Вене, они незаметно проникли в чешскую Прагу, приближаясь к рубежам Полонии, где совсем недавно скончался король Сигизмунд Старый.

Его сын Сигизмунд-Август был последним из

династии Ягеллонов.

3
ПОСЛЕДНИЕ ИЗ ЯГЕЛЛОНОВ

Сигизмунд Старый, сын Ягеллончика, был женат на страшной женщине по имени Бона Сфорца, которая и ускорила его смерть, строя интриги, расхищая казну государства… Катафалк с телом усопшего поставили в кафедральном соборе на Вавеле в Кракове: суровые рыцари в боевых доспехах склонили хорунжи (знамена) Краковии, Подолии, Мазовии, Познани, Волыни, Гнезны, Померании, Пруссии и прочих земель польских.

Жалобно запел хор мальчиков. Монахи поднесли свечи к знаменам — и они разом вспыхнули, сгорая в жарком и буйном пламени. Раздался цокот копыт по ступеням лестницы прямо в собор въехал на лошади Ян Тарло в панцире, поверх шлема его торчала большая черная свеча, коптившая едким пламенем.

В руке Тарло блеснул меч:

— Да здравствует король Сигизмунд-Август!

Имя нового короля, сына польского, было названо, и канцлер с подскарбием с хрустом разломали

государственные печати — в знак того, что старое королевье кончилось. Сигизмунд-Август снял с алтаря отцовские регалии и расшвырял их по углам собора. В то же мгновенье герцог Прусский и маркграф Бранденбургский (вассалы польские) выхватили мечи. С языческим упоением они сокрушали регалии былой власти. Громко зарыдали триста наемных плакальщиц. Над головами множества людей слоями перемешался угар тысяч свечей и дым сгоревших хоругвий. Бона Сфорца вдруг шагнула вперед и алчно сорвала с груди покойного мужа золотую цепь с драгоценным крестом:

— Не отдам земле — это из моего рода Сфорца!

В дни траура король навестил мать в краковском замке. Еще красивая стройная женщина, она встретила сына стоя; ее надменный подбородок утопал в складках жесткой испанской фрезы. Платье было осыпано дождем ювелирных слез, отлитых из мексиканского серебра. Молодой король приложился к руке матери, целуя ее поверх перчатки, украшенной гербами Сфорца и Борджиа.

— Покойный отец мой недавно выплатил дань Гиреям крымским, чтобы они дали нам пожить спокойно. Но, получив дань, татары уже вторг-

лись в наши южные пределы, угоняя в Крым тысячи пленников. Придется выкупать их на рынках Кафы[1], а наша казна пуста. Хочу знать: насколько справедливы те слухи, что вы, моя мать, отправили миллионы дукатов в Милан и в «золотую контору» аугсбургских банкиров Фуггеров?

Бона Сфорца безразлично смотрела в окно.

— Что слыхать из Московии? — спросила она о другом.

— Иван Васильевич венчал себя царским титулом, а Крымским ханством овладел Девлет-Гирей. Но я жду ответа о казне Польши, бесследно пропавшей.

— Я не только Сфорца, — отвечала мать, гневно дыша, — во мне течет кровь королей Арагонских, кровь благочестивых Медичи и Борджиа, и еще никто не смел попрекать нас в воровстве… Ступай! Зачем ты велел закладывать лошадей?

— Я отъезжаю в Вильно.

Боной Сфорца овладел яростный дикий крик:

— Твое место в Кракове или в Варшаве… Или тебе так уж не терпится снова обнюхать свою сучку Барбару Радзивилл, которую всю измял

---

[1] notes: 1

Нынешний город Феодосия; в старые времена был главным районом работорговли. — Здесь и далее прим. авт.

этот бородатый дикарь Гаштольд, даже в постели не снимавший шлема и панциря?

— Я люблю эту прекрасную женщину, — ответил король, невольно бледнея от страшных оскорблений матери.

— Ах, эта любовь! — с издевкой отвечала Сфорца. — Меня сватал сам великий германский император Карл V, и тебе надо бы искать жену из рода могучих Габсбургов, пусть из Вены или из Толедо. Бери любую принцессу из дома баварских или пфальцских Виттельсбахов. По тебе тоскует вдовая герцогиня Пармская. Наконец, вся Италия полна волшебных невест из Мантуи, Пьянчецы и Флоренции, а ты… кого избрал?

— Я никогда не оставлю Барбару, — отвечал сын.

— А-а-а, — снова закричала мать, — тебе милее всех эта блудница из деревни Дубинки, где она росла среди грядок с горохом и капустой… Чем она прельстила тебя?

— Тем, что она любит меня.

— Тебя любила и первая жена Елизавета Австрийская.

— Да! — обозлился король. — Но вы сначала разлучили меня с нею, а потом извели ядом из наследия благочестивых Борджиа.

Дверь распахнулась вбежала Анна Ягеллонка, сестра молодого короля. Она рухнула между матерью и братом:

— Умоляю… не надо. Даже в комнатах слышно каждое ваше слово. Даже лакеи смеются… сжальтесь!

— Хорошо, — сказал Сигизмунд-Август, одернув на себе короткий литовский жупан. — Мертвых уже не вернуть из гроба, но еще можно вернуть те польские деньги, что погребены в сундуках конторы аугсбургских Фуггеров.

Бона Сфорца злорадно захохотала:

— Ты ничего не получишь… Пусть пропадет эта проклятая Польша, в которой холодный ветер задувает свечи в храмах и где полно еретиков, помешанных на ересй Лютера…

После отъезда сына она тоже велела закладывать лошадей. Ее сопровождали незамужние дочери — Анна и Екатерина Ягеллонки. Спины лошадей были накрыты шкурами леопардов.

— Мы едем в замок Визны, — сказала Сфорца; под полозьями саней отчаянно заскрипел подталый снег. — О, как я несчастна! Но вы, дочери, будете несчастнее своей матери… Я изнемогла вдали от солнца Милана. Как жить в этой стране, если к востоку от нее — варварская Московия, а

из германских княжеств идет на Полонию лютеранская ересь? Я не пожалела бы пяти миллионов золотых дукатов, чтобы в городах моего королевства пылали костры инквизиции…

…Было время гуманизма и невежества, дыхание Возрождения коснулось даже туманных болот Полесья, а ветры из Европы доносили дым костров папской инквизиции. Правда, в Польше тоже пылали костры: заживо сжигали колдуний, упырей, ворожеек, отравителей. Но казни еще не касались «еретиков» лютеранской веры, поляки были веротерпимы, и Реформация быстро овладевала умами магнатов и священников. Бона Сфорца сказала:

— Без псов господних не обойтись…

«Псами господними» называли себя иезуиты.

В каминах древнего замка Визны жарко постреливали дрова, но все равно было холодно. Бона Сфорца надела на голову испанский берет из черного бархата. Махра Вогель, приемная дочь королевы, тихо играла на лютне.

— Когда-то и я трогала эти струны, — сказала Бона, тяжело ступая на высоких котурнах. — Но все прошло… все! Теперь я жду гонца из Вильны, а он все не едет…

Она выглянула в окно: за рекой чернели под-

талые пашни, дремучие леса стояли за ними, незыблемые, как и величие древней Полонии. Наконец, она дождалась гонца, который скакал пять суток подряд, скомканный вальтрап под его седлом был забрызган грязью, как и он сам. Гонец протянул ей пакет:

— Из Литвы, ваша королевская ясность.

— Кто послал тебя?

— Петр Кмит, маршал коронный.

— Что ты привез?

— О том знают все. Король и ваш сын Сигизмунд-Август ввел Барбару Радзивилл в Виленский дворец, публично объявив ее своей женой и великой княгиней литовской…

Ничто не изменилось в лице Боны Сфорца:

— Ты устал? Ты хочешь спать?

— Да. И — пить.

Сфорца перевернула на пальце перстень, сама наполнила бокал прохладной венджиной и протянула его гонцу:

— Пей. С вином ты уснешь крепче.

Потом из окна она проследила, как гонец, выйдя из замка, шел через двор. Ноги его вдруг подкосились он рухнул и уже не двигался. В палатах появился маршалок замка:

— Гонец умер. Такой молодой. Жалко.

— Но он слишком утомился в дороге…

Перстень на ее пальце вдруг начал менять окраску, быстро темнея. Махра перестала играть на лютне:

— Что пишут из Литвы?

— Дурные вести — у нас будет новая королева, и сам всевышний наказал гонца, прибывшего с этой вестью.

Теперь осталось дело за малым: возмутить шляхту и сейм, всегда алчных до золота, чтобы они не признали брак ее сына. Петр Кмит был давним конфидентом Боны, по его почину собрался сейм. Возмущенные шляхтичи требовали от Сигизмунда-Августа, чтобы он оставил Барбару Радзивилл.

— Пани Радзивилл, — кричали ему, — уже брачевалась со старым Гаштольдом, воеводой Трокая на Виленщине, так зачем королю вишни, уже надклеванные птицами?

Но король вдруг вырос надо всеми, непреклонный в своем решении:

— Я ведь не только ваш король, но еще и человек. Любовь каждого человека — дело совести и желаний его сердца. Так знайте: я безумно люблю эту женщину, и более не желаю вас слушать!

Люблинский воевода Тарло рвал на себе кун-

туш:

— Сегодня она великая княгиня Литовская, а завтра ты назовешь ее польской королевой… Пересчитай мои рубцы и шрамы, король! Я сражался за вольности наши с татарами, с немцами, с московитами, когда тебя еще не было на этом свете. Так мне ли, старому воину, кланяться твоей паненке?

Сигизмунд-Август усмехнулся с высоты престола:

— Барбара достаточно умна и образованна, чтобы даже не замечать, когда ты не удостоишь ее поклоном…

Сейм расходился, и тогда с кроткой улыбкой к сыну подошла Бона Сфорца, сидевшая все время в ложе:

— Я уважаю твое чувство к женщине, победившей тебя, — сказала она, прослезясь. — Будь же так добр: навести меня с Барбарой. Я посмотрю на нее, и мы станем друзьями.

— Мы придем. Только снимите свой перстень…

Барбара, желая понравиться свекрови, украсила свою голову венком из ярких ягод красной калины — это был символ девственной и чистой любви. Бона расцеловала, невестку:

— Как чудесны эти языческие прихоти древней сарматской жизни! Я начинаю верить, что ваша любовь к моему сыну чиста и непорочна, — усмехнулась Бона.

Стол был накрыт к угощенью, в центре его лежала на золотом блюде жирная медвежья лапа, обжаренная в меду и в сливках. Но Барбара, предупрежденная мужем, всему предпочла только яблоко. Да, сегодня перстней на пальцах Боны не было. Она взяла нож, разрезая яблоко надвое, и при этом мило сказала:

— Разделим его в знак нашей дружбы…

Наследница заветов преступных Борджиа, она знала, какой стороной обернуть отравленный нож, чтобы самой не пострадать от яда. Бона Сфорца осталась здорова, съев свою половину яблока, а Барбара Радзивилл начала заживо разлагаться. Ее прекрасное лицо, уже сизо-багровое, отвратительно разбухало, губы стали безобразно толстые; глаза лопнули и стекли по щекам, как содержимое расколотых куриных яиц… От женщины исходило невыносимое зловоние, но король не покинул ее до самой смерти и всю дорогу — от Кракова до Вильно — ехал верхом на лошади, сопровождая гроб с ее телом…

Отчаясь в жизни, Сигизмунд-Август бросился

в омут пьянства и распутства; пьяный, он орал по ночам:

— Умру, и… кому достанется моя Польша?

Он окружил себя волхвами, колдуньями и магами; знаменитый алхимик и чародей пан Твардовский (этот польский Фауст) окуривал короля синим дымом, и тогда перед ним возникал дух Барбары… Отделясь от стены, она, лучезарная, тянула к нему руки и король, бросив чашу с вином, кидался навстречу женщине, а потом скреб пальцами стену:

— Не мучай! Приди… еще хоть раз! Вернись…

В минуту просветления он изгнал свою мать, и она, покинув Польшу, поселилась в итальянском городе Бари. Испанский король Филипп II сразу выклянчил у нее в долг 420 000 золотых дукатов на борьбу с «ересью». После этого, получив благословение папы, Бона Сфорца собралась греться на солнце до ста лет. Домашний доктор, грек Папагоди, веселый, красивый и молодой, однажды поднес ей бокал с лекарством для омоложения тела:

— Сегодня я приготовил для вас отличный декокт…

Это был декокт пополам с ядом. Узнав о смерти матери, Сигизмунд-Август умолял банкиров

Фуггеров, чтобы вернули польские деньги, вложенные в их банк матерью. Фуггеры отрицали наличие вклада. Тогда он обратился к Филиппу II в Мадрид, чтобы тот, благородный Габсбург, вернул долги матери…

Король Испании даже не ответил королю Польши!

Иниго Лойола умер за год до смерти Боны Сфорца…

Королевна Анна Ягеллонка ехала из Кракова в свои владения. Скупо поджав морщинистые губы, она перебирала четки, изредка поглядывая в окно кареты. Вокруг было пусто и одичало. Где-то на дорогах Мазовии ей встретилось одинокое засохшее дерево. На его сучьях болтались два удавленника, а под деревом — с обрывком петли на шее — сидел босоногий монах с изможденным лицом.

— Слава Иисусу Сладчайшему! Моя веревка лопнула.

— Кто ты сам и кто эти повешенные люди?

— Мы не люди — мы псы господни. Нас послал великий Рим, дабы внушать страх еретикам, дабы содрогнулся мир безбожия и прозрели души, заблудшие во мраке лютеранской ереси.

Анна Ягеллонка догадалась, кто он такой:

— Ступай же далее путем праведным, в Варшаве для вас хватит дела, чтобы лаять на отступников божиих…

Так в Польше (Полонии), почти под боком Руси, появились первые иезуиты. Английский историк Маколей писал о них: «Они проникли из одной страны в другую, переодеваясь самым различным образом, то под видом жизнерадостных рыцарей, то под видом простых крестьян, то в качестве пуританских проповедников. Их можно было обнаружить одетыми в платье (китайских) мандаринов… С чувством полного подчинения иезуит предоставлял своему начальнику самому решить, должен ли он жить на северном полюсе или под солнцем экватора».

Осенью 1557 года в битве при Сен-Кантене испанские войска разгромили французскую армию короля Генриха II. Но в канун этой битвы испанский король Филипп II дал обет всевышнему:

— Если нам уготована победа, я отвечу богу созданием такого монастыря, который по форме станет напоминать решетку, на которой живьем изжарили святого Лаврентия…

Так в безумной голове Филиппа зародилась мысль о создании Эскуриала — дворца-монастыря, дворца-гробницы.

А в январе 1558 года началась Ливонская война: царь Иван IV изменил направление старой московской политики, едва успевавшей отбивать нападения крымцев с юга. Ливония не ожидала нападения, которое лучше всего назвать «вероломным». Почти вассальная и зависимая от России, теперь, объятая ужасом убийств и грабежей Ливония, конечно, призовет на помощь поляков и шведов…

Не так-то все просто, как думалось Ивану Грозному!

4
ИСПАНЦЫ ЭТО… ИСПАНЦЫ

Испания была единственной европейской страной, на юге которой — там, где скала Гибралтара нависает над Африкой, — еще водились обезьяны-макоты. История разделила Испанию на множество провинций, и каждая из них отмежевывалась от другой своими танцами, своим характером и наречием, своими традициями, унаследованными от загадочных предков. Испанца в те времена можно было сильно обидеть, если назвать его «испанцем»:

— Какой же я испанец, если я из Валенсии!

— А я из Каталонии, и мою речь понимают французы!

— Мы из Наварры, мы презираем испанцев Кастилии…

Испанию с незапамятных времен населяли арабы-мавры, в крещении — мориски; в ней жили миллионы евреев, которые в крещении именовались марранами. Испанская корона принадлежала той ветви немецких Габсбургов, которая догнила сама по себе лишь в 1700 году, и

эти деспоты, настойчиво покоряя весь мир, постоянно покоряли в Испании самих же… испанцев!

Никакой свободы в стране люди не ведали, задавленные страхом инквизиции, былая свободная жизнь поминалась ими, как блаженный сон, а потом испанцы настолько освоились с тиранией, что, попробуй кто-либо заикнуться о свободе, и такого человека сочтут «еретиком» или «отступником божиим»…

Филипп II, ненавидящий свой народ с презрением, достойным Габсбурга, всю жизнь презирал испанцев и боялся испанцев. Мало того, в разноголосице народа, он не знал языка своих подданных. Столицей государства был неспокойный город Толедо, славный выделкой кинжалов, где в суровом пламени испытаний закалялись не только сталь острых навах, но и души жителей. Филипп II чувствовал себя здесь неуютно, и в 1561 году двор перебрался в Мадрид, объявленный столицей испанского королевства. Захудалый и нищий городишко, Мадрид летом изнывал от засухи, а зимою корчился от резких холодов.

Но, поклявшись создать Эскуриал, Филипп II — с его мрачной фантазией аскета-мистика искал под Мадридом такое дикое место, чтобы создать в пустыне нечто подобное пирамиде Хеопса, но

безобразнее пирамиды. По дорогам Испании — отовсюду! — тащились траурные дроги, в которых везли в Эскуриал оскаленные скелеты и разложившиеся трупы Габсбургов, а Филипп встречал своих предков как дорогих гостей.

Оставим Эскуриал в горячке строительного безумия, и лучше снова раскроем записи иезуита Куэваса…

Мне очень много Лет. Я еще внятно слышу всплески хищных рыб в реке Паране, слышу и удары бичей по голым спинам рабов на полях наших плантаций нашего всемогущего Ордена, но я уже едва различаю строки, начертанные мною…

Детство мое прошло среди камней Каталонии, больно ранящих ноги, под блеянье овец, грязных и нестриженных, в убогой деревне, которую лишь изредка оживляло нашествие бродячих цыган, после чего наши заборы очищались от горшков и тряпок, да иногда из соседнего монастыря доносило всплески гитар с кастаньетами — это монахи, раздобыв бочку вина, до утра отплясывали разнузданную сарабанду.

Матери я не помню, а отец столь преисполнился усердием к богу, что повседневный голод, мучивший меня от рождения, усиливался длительными постами. Зато как я радовался сушеной

треске, которую поспешно заедал горстью оливок, вместо вина к моим услугам был полный воды колодец. Перед сном я девять раз без передышки прочитывал очистительную молитву, а в случаях беды или радости научился у отца восклицанию то покорному, то восторженному:

— О, святая дева Мария, не оставь нас…

Отец был настолько горд сознанием своего благородства, что никогда не унизил себя трудом, часто внушая мне:

— Лучше уж смолоду выбрить тонзуру на макушке, чтобы в старости мирно доживать на доходы с бенефиции. Рука любого идальго, даже нищего, создана лишь для того, чтобы держать меч или крест, но мотыга да не коснется ее. Мы можем служить королю или церкви… Правда, — добавлял он, невольно мрачнея, — можно навеки отряхнуть прах этой земли, где полно богатств, но совсем нету денег, где от овец мы имеем один вонючий помет, а наши рощи, такие цветущие при маврах, уже не приносят плодов нам, благородным испанцам.

От самой колыбели я сознавал, что идальго плохо живется в самой Испании, зато ему хорошо во владениях испанского короля на Филиппинах или в Калифорнии, в Мексике или в Чили, — хо-

рошо везде, только не дома! Отец рассказывал чудеса об этих заморских странах, где идальго качаются в гамаках, черные рабы подносят им лимонады и кофе, стройные невольницы отмахивают от них пальмовой ветвью москитов, а золото и серебро валяются под ногами…

В нашем доме, сваленном из грубых камней, царила такая же скорбная пустота, как и в лачугах крестьянских, но зато у крестьян не висели на стенках панцири пращуров, измятые в битвах, не было шлемов и мечей с копьями.

Лет за десять до моего рождения отец сражался с неверными на галерах, а турки осыпали их корабль из фальконетов ржавыми гвоздями. Эти гвозди были нарочно загнуты, как рыболовные крючки, а перед битвой неверные долго вымачивали их в загнившей крысиной крови. Потому-то раны отца никогда не заживали, источая гной, принося ему страдания. Перед смертью отец напутствовал меня словами:

— Помни, что твои предки сражались с нечестивыми или молились, но никогда не осквернили себя трудом. Делай что хочешь, но только никогда ничего не делай!

С этими словами он оставил меня сиротой. Священник посоветовал мне покинуть дом и

следовать в Мадрид:

— Говорят, наш добрый король начал строить дворец новый в семи милях от столицы. Двор его расширяется, и там ты скорее найдешь себе кусок хлеба. Что делать, если дней в году больше, нежели число съеденных нами сосисок.

В ту пору мало кто хотел жить в деревнях испанцы разбегались по городам, желая хоть как-нибудь зацепиться за любое дело в городе, и громадная страна с ее виноградниками и садами погибала в запустении, только овечьи стада оживляли пустынные каменистые пейзажи. Если верна старинная поговорка, что «дворянин несет на себе весь свой доход», то я, трогаясь в путь, подтвердил эту старинную истину. Я шагал до Мадрида босиком, завернув на себе ветхий плащ, а под локтем держал ржавую шпагу — знак достоинства и чести всех благородных кабальеро.

Изнуренный голодом и жаждой, в столице я узнал, что двор короля отъехал в Толедо — старую столицу Испании. Я терпеливо выстоял длинную очередь к фонтану для нищих и, напившись воды, тронулся дальше. Вместе со мною тащились в пыли тысячи бездомных людей: Филипп II, снисходя к людским слабостям, обещал народу устроить торжественное аутодафе, в конце ко-

торого будет накрыт бесплатный стол на 12 000 калек и нищих.

О-о, пресветлая дева Мария, как я хотел есть!

Когда молодой идальго входил в этот мир, мир очарований и ужасов, еще никто не мог бы сказать, кем он станет плутом или аскетом, попрошайкой или алхимиком, конкистадором или пиратом, палачом Супремы или поэтом королевы.

Сопоставляя факты и даты, я пришел к выводу, что Куэвас родился около 1550 года, а покинул провинцию подростком, и пусть он долго плетется в толпе нищих, дабы усладить свое благочестие зрелищем прекрасного аутодафе, а заодно и насытиться от королевских щедрот треской с хлебом. Оставим его на время в покое, занятые совсем иными делами.

5
В ГОСТЯХ У БОГАТОЙ НЕВЕСТЫ

Европейские политики тогда посмеивались:

— Ливония — как очень богатая невеста, за которой ухаживают сразу несколько женихов, отчего и быть драке…

Ливония состояла из земель латышей и эстов, покоренных германскими крестоносцами; это было смешанное владение рыцарских орденов и епископатов (Рижского, Ревельского, Эдельского и Дерптского). На ее богатства давно зарились поляки, русские, шведы и датчане. Ливонский орден меченосцев из бродяг и разбойников, которым в Европе не нашлось места. Римские папы не раз подначивали их покорять русские земли, а рыцарей били новгородцы и псковитяне, помогали же им литовцы. Но эпоха крестовых походов отошла в прошлое, и с 1503 года меченосцы уже не ссорились с Россией…

Рыцари свалили в кучу свои бранные доспехи, их мечи поржавели; из меченосцев получились отличные пьяницы и обжоры, отчего многие, растолстев, уже не влезали в свои панцири.

Пограничная Нарва, сытая угрями и пивом, шелестящая шелками и бархатом купеческих одежд, имела в гербе крест и две дикие розы; среди нарвских бюргеров уживались и русские семьи; а на другом берегу реки Наровы русские отстроили свою крепость Ивангород, и теперь две цитадели мирно глазели одна на другую жерлами пушек, застывших в тишине длительного, но чудесного мира.

Перестав драться с русскими, дрались между собою. Фюрстенберг, магистр Ливонского ордена, готов был передушить духовенство, а епископы натравливали на рыцарей дворян и купцов. «Пока собаки грызлись из-за одной кости, — писал местный историк Форстен, — пришла третья и завладела ею».

Случилось это столь просто, что диву даешься!

Когда в Москву прибыло ливонское посольство, дабы продлить мир, Алексей Адашев заявил, что мир будет сохранен, если орден выплатит дань и все недоимки. Ливонские послы удивились этому, тогда Адашевым было сказано:

— Как это вы не хотите знать, что ваши предки явились в Ливонию невесть откуда, с мечом вторглись в древние вотчины князей наших, вам разрешили селиться у нас под боком, чтобы

вы платили Москве дань за тот мед, что едите с наших пчелиных пасек… Недоимок-то на вас налегло немало!

Торговались три года, но собрать денег не могли, а, может, просто не захотели. Ливонцы снова появились в Посольском приказе, просили Адашева, чтобы умолил царя не гневаться:

— С наших пчелок меду совсем не стало.

— Так они, ваши пчелы, — отвечал Адашев, — через рубежи летят, с наших же цветов мед собирают, а вы, рыцари превосходные, за свои талеры держитесь, как коты за гусиную печенку…

Впрочем, этикет приличия не был нарушен, и послы Ливонского ордена были званы обедать в кремлевские палаты. Совсем недавно за этим же изобильным столом царь Иван IV принимал Ричарда Ченслера, и тогда подносили жареных лебедей, которым вместо глаз были вставлены индийские жемчужины, а теперь… Теперь так же, громко чавкая, ели и пили бояре, двигая бородищами, словно вениками, так же сверкала золотая посуда, украшенная изумрудами и алмазами, но перед ливонскими послами царь велел поставить пустые тарелки. Это был намек, и весьма опасный!

Но царь шутки свои продолжил, и когда рыца-

ри, не солоно хлебавши, отправились почивать, возле их дома целый день стреляли из пушек. В прощальной аудиенции, стоя перед Иваном, становившимся Грозным, ливонцы спрашивали, зачем всю ночь палили из пушек так, будто война началась.

— А на святой Руси так уж заведено исстари, — ответствовал государь, — что по воробьям всегда из пушек стреляют…

Опять намек! Но, оставив свои шутки, царь писал магистру Фюрстенбергу: «Бог посылает во мне вам мстителя…» И вручил послам Ливонского ордена кнут с такими словами:

— Чаю, ваш господин умнее вас и сам догадается, что со мною, государем всей земли Русской, лучше не ссориться…

Михаил Глинский, князь и сородич царя, увел под Нарву войско; от ливонцев, ехавших домой, даже не скрывали движения воинских обозов, на широких санях лошади влекли могучие пушки. Войны не было, и князь Шестунов, сидевший в Ивангороде с гарнизоном, по-хорошему убеждал немцев в Нарве, чтобы недоимки платили:

— А всего с вас шесть десять тыщ талеров…

С другого берега реки, с высоты башни, ему кричал магистр Вильгельм Фюрстенберг, чтоб

царь всея Руси потерпел:

— Скоро соберем нужное для контрибуции, сколько просите, и тогда можете убираться отсюда…

Наверное, тем бы и закончилось, если бы не подоспела пасха. Русские в гарнизоне Ивангорода постились как умели, у них в крепости чинно соблюдалась тишь да гладь и божья благодать. Зато в Нарве — на другом берегу реки — во всю шумели пьяные рыцари. Им было так весело, до того уж весело, что один из них просто не выдержал… Вылез он на самый фас крепости и с высоты глянул, что там делают русские в своем Ивангороде. И тут рыцарь увидел, что стоят несколько русских и о чем-то разговаривают.

— Ах, так? — воспылал ливонский рыцарь праведным гневом. — Вы сюда зачем пришли? Чтобы разговаривать?

Пушка, полвека молчавшая, не стерпела, когда ее прижгли пылающим фитилем, и грозно рявкнула в сторону великой и могучей Руси, посылая первое ядро в сторону пасхальных праведников…

Первые мертвецы, первая кровь, первые стоны.

Так начиналась Ливонская война!

Вместо идеологии — религия, а вместо закона — насилие. Международного права тогда в помине не было, Макиавелли был настольной книгою для всех сатрапов в политике. А поводов начать войну всегда было предостаточно, и потому сильный, не страшась никаких резолюций ООН, спокойно избивал слабого. Не понимали тогда и разницы между частным имуществом и государственным, отчего победитель считал своим долгом калечить побежденного, мог убить пленного, изнасиловать его жену, детей уводил в рабство, а имущество побежденных считал своим, честно добытым. Это право, основанное на бесправьи, в равной степени относится ко всем европейцам, и не русские его придумали, поступая согласно обычаям своего кровожадного времени.

Русские войска опустошили окрестности владения епископа Дерпта и вернулись назад, довольствуясь добычей, когда раздался этот пушечный выстрел в Нарве, и, может быть, вся история Ливонии, даже история всей России сразу искривилась по вине одного пьяного дурака…

Внутри Ивангорода возникла суматоха, близкая к отчаянию. Не кровь испугала воевод, а страх перед царем, который, пограбив земли епископа,

указывал войны не продолжать. Князь Шестунов велел гонцу скакать до Москвы, чтобы государь сам решил:

— Как быть-то нам, бедным? Скажи, что тут стены валятся, мы уже в крови плаваем…

Верно: одинокий выстрел ливонские пушкари сочли сигналом к общей канонаде, и внутри Ивангорода ядра теперь прыгали, как мячи, сокрушая жилища, неся смерть мирным жителям. Воеводы послали в Нарву стрельца местного из местных, знавшего немецкий язык, и он, переплыв реку, явился перед рыцарями:

— Вы зачем мир нарушаете? — спрашивал он.

— Пушкари взбесились! Как их унять?..

Гонец вернулся из Москвы, едва живой от скачки:

— Государь-батюшка указал ядер не жалеть…

Вот тут и началось! Не знаю, как сейчас, а перед революцией в Нарве многие жители долго еще украшали фасады своих домов ядрами русской артиллерии, которыми досыта наугощал Иван Грозный их предков. Медных ядер было у царя маловато (где ему, бедному, взять меди?), зато ядра-булыжники, выстреливаемые из пушек, весили более шести пудов. Ивангород каждый день отправлял в Нарву по триста таких камен-

ных «гостинцев». В гарнизоне Нарвы было триста «кнехтов» (наемников из Германии), и они теперь трясли бургомистра, чтобы скорее выплачивал им жалованье, ибо сидеть без денег под ядрами — кому охота? Магистрат, взывая о помощи, слал гонцов к Фюрстенбергу, епископам в Ревель и в Ригу, но, как заявил бургомистр Нарвы:

— Никто из них даже яйца не прислал…

Наконец, осажденных оповестили из Ревеля, что на выручку Нарве спешит тысяча конных рыцарей, ведомых храбрейшим командором Готардом Кеттлером. Не выдержав канонады, жители открыли ворота, и бургомистр просил у русских воевод пощады:

— Согласны мы отложиться от магистра своего Фюрстенберга, чтобы подпасть под могучую руку мудрейшего и кроткого царя русского Ивана по батюшке Васильевича…

В таком духе была отправлена в Москву депутация, которую Иван Грозный жаловал грамотой, между тем, дозорные на башне «Длинного Германа» не сводили глаз с дороги:

— Не видать пыли… еще не скачут рыцари Кеттлера! Между тем, вблизи от Нарвы русский отряд был разбит немцами, потеряв сто человек пленными, но и сами, отступая в Ивангород, при-

волокли пленных немцев. Один из них сказал на допросе:

— За нами идет грозный командор Кеттлер, а вы, русские, как дураки, депутатов в Москву шлете с капитуляцией… Нарва невеста знатная, а вы женихи поганые, не плясать вам на свадьбе! У меня мать русская, потому и говорю вам: уходите отсюда.

Но, кажется, сам злобный рок подстерегал Нарву!

Если по воле одного пьяного начался обстрел города, то во втором случае виноват оказался цирюльник, еще трезвый. История сохранила нам его имя — Кордт Улькен. Вот этот Улькен варил, варил пиво и подбросил в печку столько дровишек, что печка треснула, из ее топки выбило факелом пламя. Улькен спасся.

— Feuerjo, feuerjo! — кричал он о пожаре на улице. Ветер раздул свирепое пламя, и скоро весь город был охвачен огнем. Жители, не успев укрыться за стенами замка, кидались в крепостной ров. Кнехты сбежались на Рыночной площади, но пламя загнало их в замок, и цепной мост, связующий его с городом, был поднят. Тут все стали кричать:

— Где же храбрый командор Кеттлер? Сколько

у нас еды?

— Из еды у нас три бочки прокисшего пива, куль ржаной муки и только свиного сала много, — завершили подсчет…

В это время русские в Ивангороде подхватили доски и пустые бочки, из домов выламывали даже двери- все дружно кинулись в кипящую реку, которую и переплыли, оказавшись в горящей Нарве. Воины барабанили в ворота замка, а боярин Алексей Басманов орал кнехтам, чтобы ружьями не шалили:

— Которые тут нерусские, те разбегайтесь…

Кнехты разбежались, даже не откатив пушек. Их сразу развернули внутрь замка и стали долбить его стены ядрами. С высоты «Длинного Германа» вдруг истошно завопил дозорный:

— Вижу пыль… пыль! Это Кеттлер идет на помощь.

— Сдавайтесь по-хорошему, — кричали русские.

Из глубин замка, воодушевленные близкой подмогой от Готгарда Кеттлера, рыцари отвечали:

— Не мешай нам допивать пиво! Можно отдавать груши да яблоки, но только не такие города, какова наша Нарва…

Тут дозорный доложил — в страхе:

— Это не Кеттлер! Это русские идут…

Вот тогда цепной мост, скрипя ржавыми цепями, медленно опустился, и в раскрытых воротах замка русские приняли капитуляцию. Но теперь была от царя «жалованная» грамота, воеводы были обязаны беречь Нарву, как русский город. Царь обещал не жалеть расходов, чтобы построить в Нарве новые дома и новые церкви. Часть жителей осталась на пепелище, а другие жители с детьми и женами были выпущены из города. Они добрались до лагеря рыцарей, где возле костра сидел на барабане Кеттлер. В ответ на упреки жителей, почему он не пришел, Кеттлер отвечал:

— Так не надо было вам поджигать город… Или вы думаете, что я собрал своих рыцарей для того, чтобы тушить пожары?

После падения Нарвы перед русскими пал Дерпт, открылась дорога на Ревель (Колывань). Духовенство заговорило о дурных знамениях, которым раньше никто не верил. Сначала появилась комета с длинным хвостом, который подобно метле протянулся в небесах. А в самый канун войны из прусских земель явился в Ливонию некий по имени Юрген; стояли очень сильные морозы, но босой Юрген, накрыв себя мешком, не боялся стужи, вещая, что послан от бога:

— Скоро Ливония будет наказана за жадность ее купцов, высокомерие дворян, за разврат и пьянство ее рыцарей…

Где-то по дороге от Ревеля до Нарвы этот Юрген пропал. Европа еще благодушествовала — в неведении:

— Московия это такая дыра, в которую может провалиться любая армия. Говорят, там дурные порядки, а сами русские столь безобразны, что ими способны управлять только татары или поляки… Подождем! Султан турецкий Сулейман Великолепный скажет только одно слово крымскому хану Девлет-Гирею, — и от Москвы останется только зола и пепел. Вы сомневаетесь? Напрасно…

В 1985 году научный мир был взволнован новым появлением кометы Галлея, которая в древности предвещала войны, стихийные бедствия, гибель урожая и заразные эпидемии. Эту комету европейцы видели в 1458 году, и тогда надрывно гремели колокола всех церквей, чтобы отпугнуть ее «нечистую силу» подальше от земли. Тогда ожидали конца света, людьми овладел панический ужас, и комета, казалось, подтвердила их опасения: Византия приказала нам долго жить, а на берегах лучезарного Босфора

воцарились османские полчища, угрожая Европе страшными нашествиями.

Боги давно покинули Олимп; на его вершине турки собирали снег, который из Фивии отправляли морем в Константинополь — для нужд султанского гарема, и юные одалиски, рассыпчато смеясь милой забаве, играли в снежки, среди кувшинов с благовонными омовениями, среди клеток с поющими канарейками…

О, боги древности! Видите, как изменился этот мир? Теперь от Мальты до Гибралтара выгребали тяжкие христианские галеры, на которых ворочали весла пленные мусульмане; волны вздымали галеры турецкие, алжирские и берберийские, на которых были прикованы к веслам цепями пленные христиане. Ужасный XVI век, принесший людям столько войн, мучений, пожаров, нищеты и голода, — этот век, позлащенный снаружи, казалось, никогда не закончится, и… где спастись от него человеку?

Россия, над которой в Европе посмеивались, своим существованием оберегала Европу от нашествия османов, принимая на себя самые первые, самые болезненные удары, когда из удушья ногайских степей внезапно являлась, подобная туче неистребимой саранчи, зловещая

туча татарской конницы. Теперь мы, знающие, как развивалась наша история, можем свысока рассуждать:

— А прав ли был Иван Грозный, который от традиционной южной политики обратился к политике западной? Не успевая отражать нападения с юга, Москва совсем не была готова залезать в дела европейские. Иван Грозный попросту возгордился своими победами в Казани и в Астрахани, он хотел сделать на Балтике то, что с таким трудом было потом сделано Петром I, а на южных рубежах Россия окажется способной побеждать только при Екатерине II…

Спор историков на эту тему тоже непростительно затянулся. Одни говорят, что царь был прав, открывая окно в Европу, другие, доказывают, что Русь при Иване имела два открытых окна в Европу это Ивангород и Выборг. Некоторые историки говорят, что нападение на беззащитную, почти вассальную Ливонию было вероломным и невыгодным для России, но другие историки возражают, что именно ливонское рыцарство держало ключи от тех замков, которые открывали нам выход в Европу.

Этот спор, наверное, никогда не закончится!

6
ИСПАНИЯ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

Не один я хотел насыщения, шагая в Толедо среди голодных людей, восхвалявших короля, который дает народу бесплатные зрелища и бесплатный хлеб.

Господь праведный, кого здесь только не было!

Шагали уличные торговцы, притворявшиеся благородными «сеньорами», мошенники, называвшие себя «лудильщиками посуды», но сами даже кружки не имевшие, были тут и старики, бежавшие из богаделен; увечные и хромые калеки дружно влекли за собой скрипучие тележки, в которых сидели паралитики и слепые, на все голоса воспевавшие прелести Мадонны пречистой:

— Лоно ее — чистая божья обитель, грудь ее — самая прекрасная красота мира, а молоко ее — лучшая сладость на свете. Только б нам не подохнуть, пока добираемся до Толедо! Зато, что ни даст король, мы все сожрем до последней крошки…

Здесь я, автор, вмешаюсь в рассказ Куэваса, напомнив читателю: Филипп II обожал аутодафе,

чтобы в огне костров «спасать» души заблудшие… Ему казалось, что весь мир обязан походить на Испанию, все храмы мира должны служить ту мессу, какая звучит в Мадриде.

— Я согласен лучше видеть Европу гигантским кладбищем, над которым кружатся навозные мухи, нежели смирюсь, чтобы в моих владениях остался живым хотя бы один еретик…

Перед отъездом в Толедо ему доложили:

— Дон Алива-дель-грандо, которого мы столь торжественно сожгли, как еретика, три года назад, оказался невинен в ереси, которую Санта-Оффиция вашего величества ему приписывала.

Ничто не дрогнуло в лице Филиппа II, и король медленно натянул на зябнущие руки перчатки из черного шелка.

— Это легко исправить, — отвечал он. — Велите откопать прах несчастного и мы устроим ему похороны такие же пышные, каким было и его сожжение во славу Иисуса Сладчайшего. Пусть его невинная душа возликует на небесах, куда она отлетела заодно с очистительным дымом…

Ядовитый угар костров инквизиции окутывал Испанию, лишив народ радостей жизни. Церковь преследовала карнавалы, испанцев приучали любоваться зрелищами аутодафе, чтобы они

потешались над трагическими воплями «грешников», сгорающих заживо, чтобы они хохотали над чужими страданиями — так усилиями фанатиков, короля и церковников, из храброго и умного народа воспитывали бессердечных изуверов, свято веривших:

— У нас все в порядке! Пусть другие завидуют нам…

Не Англия была тогда владычицей морей — Испания!

Пресыщенные национальной гордостью, сеньоры и гранды великой империи договаривались до абсурда:

— Испания превыше всего на свете, и потому мир должен принадлежать нам, ибо сам господь Бог тоже был… испанцем.

В истории не существует пустяков. Скошенный треугольник «латинского» паруса, развернутый на носу каравелл, позволил испанцам водить корабли против ветра, и, не будь этого паруса, еще неизвестно, как бы сложилась судьба Испании. Конечно, не лоция, а только Библия вела Христофора Колумба, когда он случайно открыл Америку, и тогда же в кладовые Кастилии и Арагоны хлынуло золото, омытое потом и кровью индейцев, заживо погребенных конкистадорами

в тесных катакомбах рудников Перу или Мексики.

Но это проклятое золото не сделало испанцев богачами. Исторический парадокс: чем больше золота ввозили из Америки, тем быстрее нищала страна. Изобилие драгоценных металлов вызвало «революцию цен», финансовое банкротство, крах всей экономики.

Наверное, Филипп был бы удивлен, узнай он только, что в это время французы и голландцы вывозили золото из Испании в… бочках, словно селедку. А испанский экономист Меркадо справедливо писал, что скоро в других странах, которые не открывали америк, будут крыть свои крыши испанским золотом. Герцог Альба, этот набожный палач, в присутствии короля во всех несчастиях Испании обвинил… Христофора Колумба:

— Этот фантазер на горе всем нам открыл Америку, после чего каждый паршивый идальго выбросил медный кувшин, мечтая о кувшине из золота, и с тех пор все испанцы, кажется, перестали понимать, что в мире дешево, а что дорого.

Король Филипп II соглашался с герцогом:

— Владея бездонными золотыми копями Америки, обладая почти всем мировым запасом

золота, я, как нищий, вымаливаю деньги в конторе банкирского дома Фуггеров… Может, нам стоит захватить соседнюю Португалию, чтобы поправить свои делишки?

Герцог Альба, слишком знатный, отвечал королю:

— Ваше величество, если мы покорим Португалию, то где же нам, испанцам, спасаться от тирании вашего величества?..

Англия отвечала Испании морским разбоем, что называлось «спеть песенку для испанского короля»: Флибустьеры грабили галиоты Филиппа II, груженые серебром и золотом, английские пираты разоряли города Чили, Перу и Мексики. Но избыток золота уже развратил идальго, никто не хотел работать, тем более, что налог «алькабала» был ужасен: из десяти добытых дукатов король отбирал в казну от трех до пяти. Страна пустела, народ нищал, а король во всех бедах видел лишь «происки дьявола».

Наивно думать, будто инквизиция жарила людей просто так — в свое удовольствие. Нет! Дело в том, что имущество казненных поступало в кошелек короля, а Филипп II никакими доходами не брезговал. Сам он жил очень скромно, даже любовниц не баловал, но от прибылей не

отворачивался. Однажды королевский ассистент (секретарь) доложил ему, что в долинах Гондураса случайно обнаружили древний город величественный, как египетские пирамиды, но давно покинутый жителями.

— Неужели не осталось даже кошки с котятами?

— Лишь миллионы ядовитых змей и отвратительных жаб.

— А какие драгоценности найдены?

— Диего дон-Палацио видел в гробницах мумии жителей мертвого города. Их зубы просверлены, а в отверстиях зубов вставлены драгоценные камни.

— Где они? Покажите, — оживился король.

— Простите, ваше величество, но их нету.

— Тогда к чему мне ваши сказки об этом городе? Пусть дон-Палацио выдернет у мертвецов зубы, тогда и поговорим…

Жизнь за океаном казалась раем небесным; испанцы искали счастья на Кубе или в Бразилии, а Испания безлюдела, поля оставались необработанными. Страна переживала деградацию власти, умственный застой. Науки не было — ее заменяли «служением богу»; ученые трусливо комментировали Аристотеля, математикой

владели только корабельные штурманы, а историки жили подделкою фальшивых грамот на дворянство. Каждый оборванец мечтал укрыться за приставкою «дон», которая узаконивала его безделье. При этом он презирал богатых арабов, завидовал евреям.

— Мараны съели всех наших куриц! Мы, испанцы, уже забыли, когда последний раз мылись, а мавры заводят у себя ванны с горячей водой. Мы готовы служить на побегушках любому гранду, а нечестивых морисков обслуживают черные невольницы…

Физический труд считался уделом рабов или побежденных. Потому убирать урожай зазывали крестьян из Франции, апельсиновые рощи засыхали, пашни превращались в бесплодные пустоши. Испанцы же гордились праздностью, считая ее признаком своего «благородства», от них часто слышали:

— Испания превыше всего… нет лучше моего королевства!

Иностранцы, попав в Испанию, писали о ней, как о стране бездельников, каждый из которых завтра станет преступником. Любой спор на улице из-за стручка перца заканчивался точным ударом навахи под нижнее ребро. Страна

была переполнена бродягами, нищими, мошенниками, гадалками и танцорами. Если кому не удавалось обрести приставку «дон», тот старался иметь доску для ношения на груди с казенной надписью о том, что носителю доски официально разрешается просить милостыню. Зато сколько было монастырей, и все монахи жили припеваючи. Женские же обители напоминали вертепы разврата. Монахини, частенько рожавшие, топили младенцев в колодцах. Испания задыхалась от множества сирот и подкидышей, которых королевские альгвазилы собирали по утрам на огородах или под заборами.

Герцог Альба рассуждал о нехватке тюрем.

— Но создание каждой тюрьмы, — отвечал король, — обходится казне дороже строительства одного галиота, а я нуждаюсь в новых кораблях, чтобы вывозить золото из Америки. Наконец, Испания обязана подорвать морское могущество Англии... Пусть тюремщики поплотнее запихивают грешников в тюрьмы.

Плотнее было уже некуда! Даже на лестницах тюрем годами сидели на ступеньках женщины с младенцами, в коридорах навалом отсыпались «еретики». Конечно, все уже давно признались в связях с дьяволом, всех ожидал костер и все,

конечно, писали доносы на других, желая облегчить свою участь. Супрема короля бывала иногда милостива: доносчика сначала душили шнурком, а потом, уже мертвого, кидали в очистительное пламя. А чтобы освободить тюрьмы для размещения новых грешников, инквизиция готовила пышные аутодафе, торопливо обвиняя людей в ереси… Я, автор, могу только удивляться выносливости испанского народа, который, живя в этом аду, донес до наших дней огненную арагонскую хоту и веселую кастильскую сарабанду!

Испания при Филиппе II еще шумела дубовыми лесами, овечьи стада не успели обглодать виноградные рощи, среди цветов и трав звенели чистейшие родники. Бискайский залив кишмя кишел громадными китами, которых пронзали копьями бесстрашные баски; китовые языки поступали ко двору, туши китов кромсали ножами нищие, а китовый жир алчно расхватывали монахи. Баски плавали далеко — за икрой они ходили даже в Азовское море, а первые могилы европейцев на Филиппинах были могилами басков. Стол зажиточных испанцев был прост: вяленые угри, треска и сардины, хлеб и каша с оливковым маслом. В дальних плаваниях каждый идальго был вынослив, перенося любые

лишения; когда кончались куры, он спокойно жарил корабельных крыс, матросы обгладывали кожу с корабельной мачты, наконец, пекли блины даже из древесных опилок. Это была нация очень стойкая, красноречивая, воинственная, беспощадная, честолюбивая, считавшая себя непобедимой. Церковь постоянно внушала испанцам их превосходство над другими народами, презрение ко всем людям, в жилах которых не течет испанская кровь. Религиозный фанатизм был возведен в систему, и на улицах городов самые близкие друзья встречали один другого словами:

— Да пребудет тело Христово с нами…

Как я устал, как я хотел есть, как мне хотелось пить.

Вот, наконец, и Толедо! Даже камни забыли прошлое этого мрачного города, в который толпа нищих вливалась через Пуэрта-Дель-Соль (ворота солнца). Как и в давние времена, среди улиц металась речка Тахо, а земля в Толедо была почти пурпурного цвета, будто кровь еще сочилась с подземными водами, напоминая былые трагедии этого города. Нас, испанцев, спешащих на аутодафе, стороною обходили арабы-мориски, через щели оконных ставней на нас глядели запуганные евреи-мараны. Теперь древние си-

нагоги Толедо служили складами торговцев, а в мавританских молельнях размешались конюшни испанцев.

Смешавшись с толпою, я пробился на площадь Кристо де-ла-Вега, где готовилось аутодафе, чтобы потом с облегченным сердцем ринуться к столам, накрытым для нищих от имени короля. И все бродяги, в чаянии предстоящего веселья и будущей сытости, заранее проклинали мерзких еретиков, восхваляя доброе сердце короля. Лишь единожды услышал я недовольный голос:

— О, господи! Неужели нельзя голодных людей просто накормить? Почему прежде обеда мы должны надышаться смрадной копоти от горящего мяса?

Но из толпы ему отвечали насмешками:

— Эй! Ты, наверное, из глупой Валенсии, где живут простаки, которые почему-то не любят свежего жаркого…

Конец главы я решил дописать за Куэваса. Турецкие султаны всегда славились своими зверствами. Но они не преследовали людей за их верования или безверие. Как это ни странно, но свобода совести существовала во владениях магометан, где искали спасения не только евреи, но и христиане. А грозный султан Сулейман Велико-

лепный даже писал папе римскому, спрашивая наместника божия: где же христианское милосердие твоей церкви, если от Христа завещано: «Все люди братья»?

7
ТЕПЕРЬ ВСТАНЬ И УЙДИ

Аутодафе в этот день предстояло великолепное. Для сожжения заблудших в ереси заранее были сложены поленницы дров и большие кучи сухого хвороста. Над ними были укреплены «андреевские» Х-образные кресты, вымазанные ядовито-зеленой краской. Локтями и кулаками я протиснулся вперед, чтобы лучше видеть галерею для знатных гостей, общество которых украшал своим присутствием сам великий король.

Филипп II сидел в кресле на особом возвышении и, как всегда, мерзнул, очевидно, надеясь согреться возле костров. Возле него расположились две придворные красавицы — одноглазая Анна Эболи, дочь перуанского вице-короля, и знатная сеньора Изабелла Оссориа. Прямо под ними, закинув лица черными капюшонами, собрались безымянные судьи Санта-Оффиция (священного трибунала), державшие в руках громадные зажженные свечи. В публике призывали болтунов к молчанию, чтобы своими криками и шутками не мешали выслушивать приговор о

винах еретиков:

— Тише, тише! Неужели вам это неинтересно?..

Конечно, было интересно знать о хитрых кознях, на какие способен дьявол. Один еретик сам разоблачил себя, в великий пост с аппетитом поедая ветчину с луком. Подвергнутый пытке, он не сознался в лютеранской ереси, но благочестивый сосед донес на него, что однажды видели, как он мочился на стену церкви. Среди приговоренных к смерти был и деревенский дурачок-гермафродит, при создании которого дьявол показал, на что способна его фантазия. Поодаль высился отдельный помост для еретиков, наряженных в «санбенито» — длинные желтые балахоны с крестами на груди и на спине, разрисованные языками огня и фигурами бесов. Головы осужденных накрывали высоченные «кароча» — колпаки из бумажного картона, на которых изображены чертики и дьяволята, пляшущие от небывалого восторга. Инквизиторы разом задули свечи и удалились.

— Начинается, — горячо зашептали зрители.

Сначала палачи со своими учениками-подмастерьями удивительно ловко передушили всех тех, кто накануне казни покаялся, это была осо-

бая милость, присущая нашей сострадательной церкви, а я невольно подивился той быстроте, с какой человек из живого становится дохлым. Первым подожгли хворост под гермафродитом. Ох, как тут все обрадовались, когда он завопил, охваченный быстрым пламенем. Гнев божий поражал сегодня сразу восемь морисков, втайне чтивших своего Аллаха, двух молоденьких евреек и дряхлого раввина из Гренады; палачи влекли на костер пожилую обморочную каноницу кармелитского монастыря, которую по ночам навещал красивый юноша, искусно прятавший под париком рога дьявола-искусителя.

Среди еретиков был сегодня и один нераскаявшийся лютеранин, немецкий офицер из Голштинии, живший в Толедо ради любви к местной красавице. Помню, как этот лютеранин, проходя на костер мимо короля, крикнул ему на чистой латыни:

— Скажи, за что ты караешь? Неужели под этим небом человек не вправе сам избрать себе бога? Какая польза тебе, королю, если я сейчас превращусь в горсть пепла?

Несмотря на вопли сгоравших еретиков и треск пламени, я хорошо расслышал его слова и ответ ему короля:

— Ступай на костер, глупец! Если бы сейчас на твоем месте оказался мой сын Дон-Карлос, я бы всю ночь трудился, таская хворост для очищения его священным огнем…

Х-образные кресты корчились в пламени. И, привязанные к этим крестам, орали еретики… Толпа даже подалась назад, сама ощутив жаркое пламя. Небывалый восторг овладел мною от праздничного зрелища, криков ужаса и радости, от пения церковных хоралов, возносимых монахами к небесам, от этого дыма с запахом горелого мяса, а волосы колдуний вспыхивали разом, как факелы. Старый раввин, с обугленными уже ногами, еще хрипел дыркою рта:

— Schema Israel… Schema Israel (слушай Израиль)!

Все проходило замечательно, доставляя нам возвышенную радость. Но вдруг один из еретиков, когда огонь спалил веревки, привязывавшие его к «андреевскому» столбу, кинулся прочь из пламени прямо в толпу, крича:

— Сам господь не желает смерти моей!

Но его тут же схватили, и королевские стражники алебардами загнали в пламя костра, призывая:

— Умри, как велено священным судом…

В небывалом упоении я невольно бросился к костру, на котором корчился немец из Голштинии, и стал подкладывать под его свежий хворост, чтобы костер разгорелся жарче. Меня тоже опалило священным огнем, и я не раз восклицал:

— О, матерь божия! Видишь ли усердие мое?

И тогда из пламени мне отвечал еретик:

— Почему ты, испанец, такой глупый? Разве не прав наш германский Лютер, что у бога не может быть матери?

Я не успел даже осмыслить сказанное мне, ибо тут же был грубо схвачен двумя здоровущими альгвазилами, которые и потащили меня к трибуне. Я увидел перед собой короля, при этом был строго предупрежден, чтобы не смел переступать больше восьми шагов до его величества.

Упав на колени, я уже не поднимался.

Над креслом короля склонялись две красавицы, а силуэты их фигур напоминали два конуса — столь широко раскинулись платья, расширенные книзу необъятными подолами. Только сейчас я разглядел, что парча одежды Филиппа была обшита капающими слезами, а в этом слезном дожде красовались изображения черепов и угасающие склоненные факелы.

Страшно кричали на кострах еврейки с мо-

рисками!

Жесткая фреза на шее Филиппа, мелко сплоенная, была столь широкой, что голова короля издали казалась как бы отрубленной, лежащей отдельно от туловища на широком и очень красивом блюде. Он обходился в речи без жестов, только очень быстро двигались желтоватые белки его глаз.

— Я, — сказал король, — отлично видел, с каким рвением ты кидал хворост под стопы еретика… Назови же себя!

— Хуан-Гарсиласо, — назвался я королю, — из рода ди-Лопес-дель-Мальгрива-Акунья-и-де-Куэвас, что в Каталонии.

Вопли казнимых усилились. Филипп II спросил:

— Скажи, идальго, на твоем лице загар солнечный или в твоих жилах есть примесь крови мавров с евреями?

Я разодрал на себе рубаху, обнажив белое плечо:

— Я чистокровный идальго, испанец, король. Мечи моих предков затупились на шеях мавров, евреев и нечестивых!

Принцесса Эболи и графиня Оссорио, колыхая черными опахалами, отмахивали от себя зло-

вонный дым, Филипп II, не поворачивая головы, что-то буркнул ассистенту, и тот спустился по ступенькам ко мне. Им было сказано:

— Ты еще слишком молод для оруженосца, но его величество, уступая просьбам знатных дам, согласен принять тебя в носильщики паланкина королевы Изабеллы… Теперь встань и уйди!

Аутодафе закончилось. У одного мориска от нестерпимого жара с треском лопнула кожа, и огонь жадно облизывал его внутренности, выпавшие из чрева. Обугленные ноги женщин, еще недавно такие стройные, теперь, дымясь, двумя черными столбами погружались в самое пекло. Но этот проклятый еретик из Голштинии все еще жил, и, задирая лицо к небу, он обгорелыми губами еще хватал в дыму, силился глотнуть чистого воздуха.

—

Будьте прокляты… вы… все вы — ГАБСБУРГИ!

Толпа нищих и бродяг, затаптывая слепцов и паралитиков, уже ринулась к столам, накрытым ради бесплатного обжорства, а я… Я остался посреди площади, еще не веря своему счастью. Но тут какой-то сеньор взял меня за руку и молча отвел на королевскую кухню, размещенную в старинном погребе.

— Эй! — повелел он. — Тащите сюда все объедки…

У меня бы тогда не повернулся язык назвать объедками все то, что осталось после завтрака королевской свиты. Как сейчас помню, я долго возился с громадным куском мяса, опорожнил большую тарелку салата из крапивы, сдобренного цветами фиалок, потом королевский повар швырнул передо мною груду костей, наказав высосать из них остатки жирных мозгов, и все это я проделал, обостряя свой вкус испанским хреном, имбирем из Мекки и перцем из Малабары…

Потом меня приодели. Длинные красные чулки обтягивали меня снизу до самого паха, невольно выделяя контуры моей фигуры, шею обвила пышная горжа из меха русской куницы, а голову я покрыл бархатным беретом с длинным пером африканского страуса. Двор собирался в Эскуриал, а мне (как и другим подобным идальго) предстояло нести королеву, которой я никогда еще не видел. Накануне путешествия меня отозвала в сторону старая гофмейстерина с наказом:

— Помните, что особа монаршей крови священна, прикосновение к ее телу карается. Недавно королева выпала из седла во время охоты. Паж хотел высвободить ее ногу из стремени, но увидел

у королевы именно то, чего видеть посторонним нельзя. Палач недолго трудился над его тонкой шеей…

Мне стало даже страшно, и я спросил:

— А если королева сама дотронется до меня?

— Ей никто не отрубит голову, — последовал ответ…

Королева спустилась на двор. На плече ее сидела гибралтарская обезьянка-магота и мелкими зубами что-то выкусывала из ее пышной прически. Четвертая по счету жена Филиппа II, краснощекая и здоровенная Елизавета Валуа была француженкой. Заметив нового носильщика, она мягкими пальцами вздернула мне подбородок, заставив поднять на нее глаза.

— У тебя, дружок, длинные ресницы. Зачем тебе таскать паланкин с такой грешницей, как я? Лучше я сделаю тебя своим пажем. — Но, узнав, что я каталонец, она резко отдернула руку. — Жаль, что ты не из Кастилии или Толедо…

Правда, что каталонцев остерегались, ибо, чересчур вспыльчивые, они слишком часто хватались за навахи, и я вдруг ощутил свою непригодность при дворе. Длинный шлейф, словно змея, очень долго тянулся за Изабеллой, укрывшейся в паланкине. Лакеи захлопнули

за ней дверцу, мы дружно вскинули ручки паланкина на плечи и зашагали прочь из Толедо. Дорога не была легкой, я задыхался в своих новых одеждах, столь непохожих на прежнее тряпье бедного идальго. Обливаясь потом, я изнемогал под тяжестью паланкина, в котором, раскрыв рот, как деревенская девка после покоса, крепко спала королева с любимой обезьяной. И разве я мог думать тогда, что цари и царицы будут до земли кланяться мне и лизать прах ног моих, что буду насыщаться молоком народов земных и стану я сосать груди царские…

— О, святая дева Мария, ты и далее не оставь меня! Какой долгой и трудной была дорога до Мадрида…

Далекие отзвуки Ливонской войны еще не коснулись бестрепетного сердца королевского Эскуриала, и что, спрашивается, Мадриду какая-то бюргерская Нарва, какое дело испанцам до того, что русские ограбили земли дерптского епископа?

Но именно в том году, когда возникла Ливонская война, скончался германский император Карл V — отец испанского короля Филиппа II, и вот ему предстояло возлежать в гробнице Эскуриала, куда сваливали всех Габсбургов.

На время забудем 1558 год, чтобы вернуть свою память в год 1958, год недавний, для нас близкий.

Европа отмечала мрачный юбилей — 400 лет со дня смерти императора Карла V; в столицах состоялись научные симпозиумы, историки ФРГ говорили о Карле V как о «первом гражданине объединенной Европы», в которой император путем завоеваний желал бы стереть все границы, разделяющие людей по национальным признакам, дабы все европейцы имели одного бога и одного императора. Дело о размывании границ, затеянное императором Карлом V, ради покорения всех народов, было продолжено…

Его продолжил Наполеон, а затем и Гитлер!

8
ОСКУДЕНИЕ

Если великая Испания скудела, сидя на золоте, то Русь-матушка тощала на пустом месте, медному грошику радуясь. Король Филипп II кормил оравы своих нищих, а царь Иван Грозный не знал, чем кормить их. Когда от бродяг, моливших о подаянии, стало невмоготу, царь объявил на Москве, что завтра станет раздавать всем нищим щедрую милостыню.

Слово царское сказано — так тому и быть!

Толпа голодных людей с утра раннего заполнила Красную площадь в чаянии долгожданного кормления. Но царь, поглядывая из окон теремов, не спешил накрывать столы:

— Пусть людишек поболее набежит, тогда и начнем…

Когда на площади негде было яблоку упасть, тогда и началось угощение от щедрот царевых. Выскочили из ворот Кремля стрельцы да стражники, саблями, дубинами и топорами быстро убили тех, что помоложе да поздоровее, оставив в живых только немощных старцев. Вот им, убо-

гим, царь-батюшка в милостыне не отказал, всех оделил по-христиански и велел за него, грешного, богу молиться. Для этого стариков распихали по монастырям, чтобы жили там «лежнями», и, сытые, смерти выжидали…

Это было тоже «аутодафе», только на русский лад!

— А пролитая кровь будет пролита не ради нашей, но ради вашей неправды, — угрожал Иван Грозный Ливонии…

При овладении Нарвой его войска взяли 230 пушек, а когда капитулировал епископ Дерпта, русским достались еще 552 орудия, — по тем временам это были богатые трофеи! Зато вот воеводе П. Шуйскому Ревель не покорился; его жители просили Данию принять их в свое подданство, благо предки ревельцев уже бывали под властью датской короны (Таллинн же по-эстонски значит «датский город»). Но король датский, как и шведский, оба уже старики, вдоволь навоевались, и теперь не желали впутываться в дрязги Ливонского ордена, тем более, что русские осенью убрались к себе по домам, и война, казалось, затихла…

Орденского магистра Фюрстенберга навестил орденский маршал Готард Кеттлер, закованный

в панцирь.

— Теперь всю зиму русские проваляются в своих деревнях на печах, — сказал он, громыхнув мечом. — Все мои чаяния едино лишь на помощь Литвы и Полонии, но король Сигизмунд-Август выжидает, и на все вопросы моих гонцов у него готов всегда один и тот же ответ: «Все дела — завтра…»

— Я уже стар и немощен, — отвечал Фюрстенберг, — и мое больное сердце чует, что слава ордена меченосцев померкла, как догоревшая звезда на утреннем небосводе.

Фюрстенберг сказал, что он уже не в силах справиться со своим рыцарством: разбежавшись по лесам, они теперь соединяются в шайки, чтобы грабить беженцев на дорогах.

— Надеюсь, — зловеще усмехнулся Кеттлер, — они не забывают делиться с вами своей добычей, а вы не забудьте поделиться со мною теми дукатами, что собрали в Дерпте для царя Иоганна…

Разругавшись с магистром, он собрал ландскнехтов, которые разбили русский гарнизон в Рингене, затем немцы вошли в русские просторы, сожгли монастырь и посад в окрестностях Пскова, после чего убрались обратно. Фюрстенберг сказал Кеттлеру:

— Царь Иоганн, зверствуя у себя дома, во владениях Ордена еще не пил крови младенцев, он еще не вскрывал утробы женщин, и потому наши рабы, латыши и эсты, хотят его власти. Но я боюсь, — заключил Фюрстенберг, — что своим набегом на Русь вы, Кеттлер, раздразнили зверя. Теперь следует ожидать мести.

— Не раньше весны! — отвечал Кеттлер. — А до весны Ливония и города ее успеют найти союзников в Европе…

Поход 1558 года возглавлял татарский хан Шиг-Али, а весной следующего года, как бы в отместку за набег Кеттлера, царь наслал на Ливонию громадное войско, в котором русские даже терялись среди множества татар, чувашей, ногаев, мордвы и черемисов. Все это разноликое и разноязыкое воинство вдруг появилось под Ригой — совсем неожиданно. Рижский архиепископ Вильгельм Гогенцоллерн приказал выжечь все форштадты, не жалеть садов и огородов. Все вокруг заполыхало, над крышами домов летели тучи татарских стрел, когда архиепископ созвал в замке совещание — как быть?

— Я не знаю, — подавленно отвечал Фюрстенберг. — Но я не одобряю маршала Кеттлера, желающего, чтобы на руинах наших древних

замков восторжествовали польские Ягеллоны.

— Ягеллоны невечны, — заострил разговор архиепископ, — у короля Сигизмунда нет потомства. Пока мы тут сидим в осаде, барон Христофор Мюнхгаузен, епископ Курляндии и Эзеля, уже торгуется с Данией, чтобы подороже продать земли и острова своего епископства датским королям.

— Нет уж! — возразил Кеттлер. — Пусть только отвалится от стен неприступной Риги эта азиатская орда, насланная сюда варварской Московией, и я сам поеду просить короля Сигизмунда о вечном союзе нашего Ордена с Польшей, пусть наша Ливония станет вассальна, как вассальна ей и немецкая Пруссия. Наконец, я осмеюсь написать венским и даже испанским Габсбургам, что Нарва — это был глаз Европы, приставленный к Московии, и с потерею этого глаза Европа окажется в слепоте, не в силах узнать, что там делают эти коварные русские…

Армия царя, не взяв Риги, снова удалилась в Россию, и тогда Кеттлер, согласный на все, отъехал в Польшу. Но датский король опередил его, прислав в Москву дипломатов, которые просили царя Ивана не беспокоить Ревель, не угнетать Ливонию. Отвечая датчанам, царь с нарочитым

смыслом Ревель именовал Колыванью, а немецкий Дерпт называл русским Юрьевым.

— Мы датского короля от своей любви не отставим, — говорил Иван Грозный. — Дабы не было ему лишней печали, я жалую ливонцев перемирием с этой весны и до поздней осени…

Желая удружить «королю соли и воды» (как называли в Москве датского короля), Иван Грозный допустил промах, который позже отзовется многими казнями для невинных и всемирным позором для него, с ног до головы виноватого. Алексей Адашев, ведавший Посольским приказом, увлекал политику Руси в проверенное битвами русло древней политики Руси, его брат Данила Адашев уже громил крымские улусы, дабы наказать Девлет-Гирея за его прежние разбои на юге страны. Но царь видел себя в венце европейской славы, и перед ним лежали планы ливонских крепостей. Адашев же, человек горячий, развертывал перед ним свиток карты загадочной Сибири, говорил убежденно:

— Земель-то вольных и богатых вот где бы нам поискати! Сибирский князь Едигер сам лезет в подданство ваше московское, обещает с каждого тобольского татарина собрать по белке и по соболю. Эдак-то с такой дани мы в Европе торговать

станем мехами так, что Ганзейские города от зависти почернеют.

— Едигер-то прислал мне всего семьсот соболей.

— Так и верно! — говорил Адашев. — Еще бы ему Сибирь разорять, ежели вы его посла в погреб посадили, измучив…

Исторически они ошибались оба — и Адашев, желающий разорить Крымское ханство, не имея флота на Черном море, и сам царь, раньше срока залезавший в Европу, давно иссушенную в таких вывертах политики, какие царю и не снились. Пока они там беседовали, в Вильне состоялась встреча короля Сигизмунда II Августа с Готардом Кеттлером.

После ужасной смерти Барбары Радзивилл, отравленной матерью Боной Сфорца, «король-завтра» впал в унылое пьянство, меланхолик, погруженный в уныние, он не скрывал тревоги за будущее Польши, которое растворялось в неясных фантазиях короля:

— У меня остались две незамужние сестры — Анна и Екатерина, уже стареющие, от выбора их женихов зависит печальная судьба короны Ягеллонов. Вы желаете, чтобы я включил ваш Орден в свою королевскую клиентуру? О том же

просит меня и рижский архиепископ. Между тем, герцог Магнус, брат датского короля, уже готов владеть островом Эзель… Боюсь, — поежился король, — что в Ливонии сейчас завязывается такой гордиев хитрый узел, который можно будет разрубить только ударом меча…

— Меч в моих руках! — заявил Кеттлер. — Только объявите власть своего протектората над землями Ливонского ордена.

— Но где же мнение магистра Фюрстенберга?

— Фюрстенберг выжил из ума, рассчитывая на помощь германских князей, но с них и дохлой крысы не получишь.

Вернувшись в Ливонию, когда леса ее уже пожелтели к осени, Кеттлер первым делом повидался с Фюрстенбергом, который гостил под Ригою в старинном рыцарском замке Кокенгаузен.

— О чем вы договорились с королем?

Кеттлер, не снимая перчаток, протянул руки к камину, в котором с треском разгорались дрова.

— О той дороге, по которой вас повезут на кладбище. Обещаю вам сигналить в рожок и обставить процессию факельщиками…

Своей наглостью Кеттлер вынудил Фюрстенберга отказаться от чина магистра, и сам возглавил

Ливонский орден, уже издыхающий, словно гадина, попавшая под колеса телеги. Кеттлеру было тогда лишь сорок лет, и он еще не знал своего будущего, которое отзовется в его потомстве… Между тем, Сигизмунд II, сделавшись протектором Ливонии, сдержал слово, данное Кеттлеру, и его посол в Москве объявил Адашеву:

— Все поляки жаждут войны с вами, и только один наш король хочет сохранить мир. Ради этого желательно, чтобы ваш государь не забирался в Ливонию, ставшую нашей клиентеллой.

— Диву даюсь! — отвечал Адашев. — Какую протекцию Ливонии вы оказать можете, если по давним договорам епископ Дерпта с каждой головы по гривне платить нам дань обязан был…

Иван IV писал Сигизмунду: «Тебе хорошо известно, что Ливонская земля от предков наших… платила нам дань». Сигизмунд отвечал царю с немалым смыслом: «Ты называешь Ливонию своею. Но как же дед твой люто воевал с ливонцами до перемирия? Какой же государь с подданными воюет и мир с ними заключает?..»

На подобный вопрос ответить было уже очень трудно.

Но «ливонский вопрос» уже отозвался на берегах Дуная, где в Вене правил Фердинанд I из

Габсбургов, брат германского императора Карла V и сам император. Осенью 1559 года, когда заканчивался срок перемирия в Ливонии, он послал в Москву своего дипломата Иеронима Гофмана, чтобы воздействовать на царя Ивана Грозного в духе примирения с переходом Ливонии под влияние польского короля. Гофмана встретили в Москве очень хорошо и с почетом, а царь велел спросить у него, какие подарки привез он из Вены? На это Гофман ответил, что, кроме верительных грамот, ничего не имеет. По московским же понятиям посол — не посол, ежели явился с пустыми руками. Иван Грозный не хотел верить в такое:

— С первого раза, видать, отдавать не хочет…

Снова явились к Гофману с вопросом: если ваш император не шлет подарков, так, может, ты сам подарки привез, чтобы угодить высокой царской милости? Гофман отделался незнанием московских обычаев, и говорил он так:

— Знай я порядки ваши, от себя бы привез…

Царский титул Ивана IV в Европе не признавали, и царь был возмущен, что в грамоте Фердинанда I его титуловали лишь «великим князем московским». Гофман оправдывался:

— Как же я могу по своей воле титуловать вели-

кого князя императором Руси, если он таковым нигде не считается?..

Посла вместе с его слугами и переводчиком посадили под замок, два дня не давали есть и пить, но терзали страхами:

— У нас таковые, как ты, послы подолгу сиживали без хлеба, пока не старались радовать царское величество. Коли попался без подарков и без титула, так и заморить можем…

Гофмана предупреждали, что если титулует царя как надо, «он даст мне в подарок собольих, куньих и рысьих мехов и всего, что я пожелаю… по истечении 8 дней меня отпустили».

Читать доклад Гофмана о его посольстве интересно…

Наблюдая за шашнями своей матери, сам развращенный боярами, царь Иван начал беспорядочную половую жизнь с 13 лет; тогда же он свершил и первую казнь, затравив человека медведями. В холостой жизни он менял женщин одну за другой, перебрав около четырехсот наложниц. Задумав жениться, Иван прежде устроил венчание на царство, а в жены выбрал тихую и добрую Анастасию Романовну Кошкину-Захарьину. Царское и брачное венчание прошло в зареве загадочных пожаров, Москва горела, горел

и Кремль, рвались арсеналы с порохом, и эти пожары, казалось, освещали будущее правление Ивана Грозного.

— По грехам моим горела Москва, — говорил он.

Став мужем, царь изменился. Анастасия отвращала его от жестоких забав, в Кремле не слышалось срамных песен. Царь вроде бы подобрел, выпускал из погребов узников, раздавал нищим милостыню, ездил на богомолье. Но тихая семейная жизнь недолго утешала молодого царя, снова начались шумные трапезы с бесстыдными девами, скакали шуты и скоморохи, выкрикивая похабные прибаутки… Снова начались казни.

В 1554 году Анастасия родила сына Ивана, а через три года подарила дому Ивана Калиты хилого сына Федора. Мать двух наследников престола, Анастасия, казалось бы, упрочила свое положение при дворе, но влияние ее на царя уничтожилось в буйных оргиях и потехах. Летом 1560 года царица с мужем отправилась в Можайск на богомолье. Царственную чету сопровождал Алексей Адашев, развлекавший царицу европейскими новостями:

— Сказывали мне люди езжалые, что Мария Тюдорша, королевна аглицкая, баба зловредная,

дух свой испустила. Была она, кровопийца, первой женищей Филиппа испанского, который недавно в Мадриде тоже начудил. Сына своего Дон-Карлоса хотел женить на Елизавете Валуа, но потом сына отставил и сам женился на ней, отчего Дон-Карлос совсем помешался.

— И не стыдно им, греховодникам? — истово перекрестилась Анастасия. — Что еще знаешь, Алексей Федорович?

За лесами показались златые главы Можайска, карету — царицын возок трясло и качало на ухабах. Царь молчал.

— Еще вот что слышал… По случаю свадьбы Филиппа с Елизаветой в Париже турнир устроили. Отец невесты, король Генрих Второй, вызвал на драку благородного рыцаря графа Монтгомери. Сшиблись они на лошадях и сломались копья. Но обломок копья графского разбил забрало на шлеме короля и вонзился прямо в глаз ему. Так и повалился с лошади…

— Не живется, — кивнул Адашев. — Хирурги же взяли из тюрьмы пятерых узников и каждому тоже всадили в глаз по обломку копья, а потом ковырялись в черепах, дабы научно вызнать, каково лучше короля излечить. Пока они там мозги потрошили, король Генрих и умер, так

что, государыня моя пресветлая, теперь королева Екатерина Медичи во вдовстве осталась…

Иван Грозный, поглядывая в окошко кареты, мрачно помалкивал. Его заботило иное. Под стенами Ревеля войска русские успеха не имели, сражаясь с корпусом «цварцен-гейптеров» (черноголовых рыцарей). Иван сумрачно сообщил Адашеву:

— Устал я от боев европейских. Новая беда Русь постигла: татары крымские под Каширой явились, женок и детишек в полон угоняют, немало нашего мужичья побили…

Адашев сказал, что тут не до богомолья:

— Скорее коней обратно на Москву заворачивать…

Царицу одолел страх, она внезапно заболела, занемогла и, проболев три дня, 7 августа 1560 года скончалась. Горе царя было велико, историки пишут, что Иван рыдал при ее кончине, убивался. Я, простите, не слишком-то верю в любовь Ивана Грозного к Анастасии. Если бы он так уж сильно горевал, так через восемь дней после ее кончины не объявил бы:

— Всегда ли мне плакать? Не повредить бы здоровья моего драгоценного. В утешение скорби своей хочу жениться…

Снова пошли чаши по кругу, в окружении вдового царя пристойность считалась непристойностью. В пьяном угаре, быстро забыв Анастасию, царь не забывал о политике:

— У короля польского две сестрицы в девках засохли. Слать бы послов, дабы высмотрели, какая тельна да пригожее? Женись я на Екатерине Ягеллонке, тогда всю Литву заберу в приданое, да и королю корону Ягеллонов подыму, из грязи шляхтенской, чтобы над моей головой она воссияла…

К нему в покои тихо проник воевода Алешка Басманов, полководец храбрейший, усердник хвастливый, человек вкрадчивый, царя понимавший, и стал Басманов нашептывать:

— Нешто верить нам, рабам твоим, что Настасья, юница чистая, умерла, едино татар у Каширы испугавшись. Уж ты, государь, сам реши: нет ли колдовства тут какого? Ты вот Алешку Адашева из гнили ничтожества наверх вздымал, вместе до Можайска молиться ездили, так не он ли яду подсыпал?..

Пальцем — ласково — Басманов тронул царя за плечо:

— Оглядись вокруг: кто радуется — не враг ли твой, а кто печалуется — не худое ль замыслил

против тебя? Эдак и тебя со свету сживут. Братец твой двоюродный, князь Владимир Старицкий, уж на что в битвах горяч, столь доброхотен к сирым да убогим… неспроста! Наверное, во сне он себя шапкою Мономаха накрывает. Остерегись, государь великий…

Царь не казнил Адашева, оставив его в подозрении, и сослал его в Ливонию, чтобы ратными делами утруждаться. Вряд ли царь верил в то, что Адашев сгубил царицу, скорее, они супротивничали в делах политики — куда идти бедной Руси, в какую сторону? Кучума воевать в Сибири, бить в Крыму хана Девлет-Гирея, или в Ливонии растекаться войсками по дорогам?..

9
ХАМОВО ОТРОДЬЕ

Придворные генеалоги выводили происхождение Габсбургов от библейского Хама, сына Ноева, и потомство Хамово долго занимало в Европе два самых великолепных престола: испанские Габсбурги сидели в Мадриде, германские прочно осели на берегах Дуная, и влияние этого хамского отродья распространялось вширь — на множество миллионов покоренных ими народов.

Много лет соприкасаясь с династией Габсбургов, я сложил мнение, что все они ненормальные дегенераты. Помимо религиозной экзальтации, всевышний наградил их всеми признаками вырождения и, не будь они Габсбургами, им бы всем надо было сидеть на цепях в бедламе, а не управлять народами. Сейчас уже не исчислить десятков миллионов людей, погибших и замученных в пытках, только потому, что в мире существовали эти изуверы.

Попробуем заняться генеалогией этих выродков…

Хуана Безумная, королева Кастилии, была

женой Филиппа Красивого, который и принес к ее ногам Нидерланды — богатейшую страну с активным трудолюбивым народом. Хуана обрела безумие от любви: поначалу она избивала каждую женщину, с которой муж поговорит, а потом, не вытерпев ревности, подсыпала ему яду. Духовник сказал ей, что Филипп невиновен, а через 14 лет воскреснет для новых наслаждений. Хуана выкопала его из могилы и уложила в стеклянный гроб. Она любовалась мертвым красавцем, покрывая его труп ласками. Боже упаси приблизиться какой-либо женщине:

— Прочь, блудницы! — кричала спятившая королева.

Как только наступала ночь, Хуана Безумная отправлялась в дорогу, освещаемую факелами, перетаскивая останки мужа с места на место. Прошло 14 лет, чуда не случилось, и тогда королева впала в буйное помешательство. Она сделалась опасна для людей, ее заточили в башню, где она и сидела 36 лет, предаваясь ужасным сумасбродствам, умерев в 1555 году, решающем году для ее сына…

Этим сыном и был «первый гражданин» Европы, который, всю жизнь кочуя из страны в страну, тоже таскал за собою гроб — для себя!

Карл I- король в Испании, он же Карл IV — король в Сицилии, он же Карл V — император «Священной Римской империи» (то есть Германской). По сути дела, в одном человеке совместился владыка почти всей Германии, Австрии, Нидерландов, Испании, Люксембурга, почти всей Италии и Американских владений за океаном, включая Мексику и Перу.

— Над моей империей никогда не гаснет солнце, — возвещал он, не забывая добавить «Plus ultra» (Хочу больше!).

«Plus ultra» хотелось извергу, воевавшему со всем миром. В его войсках служили отпетые мерзавцы и отбросы общества, в основном швейцарцы, испанцы и немцы, которые все время бунтовали, и потому возле своей ставки Карл V всегда устраивал «живодерню»: помост с виселицей и чурбан для отсечения голов. Чтобы утихомирить немцев, император вешал парочку испанцев, а чтобы не шумели испанцы, он отрубал дюжину крепких тевтонских голов. Так поступал «первый гражданин» Европы, который сам не был ни испанцем, ни немцем, а просто… Габсбургом!

Карл V высаживал галдящие от восторга десанты своих убийц даже в Алжире и в Тунисе, — он

помешался на создании всемирной империи, чтобы властвовать до ледяной Патагонии и в жаркой Африке, которую уже огибали его каравеллы. Этот жестокий, ненасытный, молчаливый и бледный ханжа, похожий на загробное привидение, целиком вышел из потемок Средневековья, а эпоха Возрождения коснулась его зловещего облика только кистью великого Тициана, писавшего его портрет на коне — победителем при Павии, где он пленил Франциска, короля Франции…

Римский папа Климент VII (из рода Медичи) боялся всемогущего деспота, а Карл V не был уверен в папе. Во избежание всяческих сомнений, император в 1527 году обрушился на Рим!

Его солдаты вырезали половину города, весь Тибр был доверху завален мертвецами. Прекрасные дворцы и памятники искусства были повержены. Разбойники осквернили не только женщин, но даже детей. Женские монастыри они превратили в казармы, предав насилию даже престарелых монахинь. Ландскнехты «первого гражданина» Европы ножами отрезали римлянкам носы, а уши отрывали клещами; раскаленными прутьями они выжигали глаза детям…

В этот момент здоровенный ландскнехт, волоча

за волосы окровавленную женщину, добродушно спросил Карла V:

— Научи, как отличать католика от еретика?

Ответ императора уцелел для истории:

— Убивай всех подряд! А когда мертвые соберутся на том свете, господь сам рассудит, кто прав, а кто виноват…

Участник римского погрома Себастьян Шертлин радостно вспоминал: «Мы разграбили весь Рим; мы во всех церквях и, где только можно, забрали все, что нашли; едва ли мы пощадили хоть один дом… в узком зале мы нашли самого папу и 12 его кардиналов, все они плакали, а все мы сразу разбогатели». Среди пьяной солдатни слышались призывы:

— Изберем нового папу — Антипапу Мартина Лютера! Франц Меринг считал, что это «грубая шутка, однако бросившая луч света среди царившего вокруг ужаса». Но я думаю, что шутки плохи, ибо среди ландскнехтов Карла V было немало и лютеран (еретиков). Когда надо грабить, тогда вопросы религии забывались, и бог становился един для всех…

Климент VII смиренно предстал перед победителем, благословив для него еще две короны — римскую и ломбардкую.

— Я рад, — отвечал Карл V, — что вы распознали мои благие намерения. Если зараза лютеранства уже объяла Германию, то в Италию она не проникнет, ибо я показал свой гнев! А вам, как Медичи, я — так и быть — возвращу Флоренцию…

Обменялись коронами, словно подарками. Оставив Рим в дымящихся руинах, император удалился, не забыв прихватить в дорогу свой гроб. В год смерти Хуаны Безумной он передал сыну, испанскому королю Филиппу II, управление Нидерландами, а сам решил устроить себе похороны при жизни. Сложив с себя регалии власти, Карл V скрылся от мира в монастыре св. Юста, не уставая бичевать свое хилое тело хлыстом из бычьей шкуры, наглядно показывая монахам силу своей веры:

— Глядите, как надо увеселять Иисуса Сладчайшего!

Затем лег в гроб, велел накрыть его саваном. Началась погребальная служба, во время которой он подпевал монахам.

— Плачьте! — взывал он из гроба. — Великий император покидает этот мир, не успев уничтожить миллионы еретиков…

Его окропили святой водицей, как мертвеца перед отбытием в могилу, после чего император

сел в гробу и сказал:

— Думаю, теперь можно поужинать…

Через 22 дня после этого гнусного маскарада он умер.

После него осталась гигантская «Священная Римская империя», которая не была священной, не была римской, и эту великую империю успешно развалил в 1806 году Наполеон. Но я понимаю, почему в 1958 году Европа чествовала загробную тень Карла V: ведь он был предтечею создания в Европе НАТО.

Хамово отродье в Вене продолжил Фердинанд I, а в Испании король Филипп II, имевший сущую ерунду — всего 23 короны.

Невозмутимо жестокий, вероломный и подозрительный, он, подобно ядовитому пауку, протягивал мохнатые лапы во все столицы мира, желая всюду расставить виселицы, везде распалить до небес костры, чтобы уничтожить инаковерующих, и при этом никогда не терял хладнокровия, одинаково равнодушно воспринимая радость или несчастье. Сила этого мракобеса заключалась в его удивительном спокойствии. Ничто не могло вывести его из состояния величавой торжественности. Даже когда он узнал, что «непобедимая армада» целиком поглощена

морем, он вяло заметил:

— Я посылал свои корабли наказать еретиков в Англии, но совсем не для того, чтобы они боролись с бурей на море…

Не знаю, испытывал ли он страх, но, думаю, именно это паршивое чувство заставило строить Эскуриал, неприступный, как крепость; пожалуй, именно страх побудил короля искать новую столицу в центре набожной Кастилии — в безводном Мадриде, где нищие воровали воду вместе с кувшинами. Воду они сразу выпивали, а кувшины меняли в ближайшем трактире на миску гороховой похлебки. Филипп II явно был опечален:

— Мне, как и Христу, суждено умереть среди воров и разбойников, между которыми и распяли Спасителя нашего…

Набожный скряга, он в проявлении чужого ума видел только оскорбление престижа королевской власти. Зато при встрече священника, несущего святые дары, Филипп II выходил из кареты и, не взирая на грязь дороги, повергался ниц, прося благословения. Любого монаха он выслушивал, как мудреца, но отвергал все советы кортесов (депутатов), и скоро в Мадриде уже не оказалось людей, которые бы желали давать ему советы.

У него не было даже министров, а только сек-

ретари, которым он неустанно диктовал, что надо сделать, а чего делать не следует; это был крайний абсолютизм, доведенный уже до абсурда. Когда Филипп II разъезжал по стране, за его каретой мулы тащили громадные возы с бумагами и доносами, ожидавшими королевской резолюции. Если в Испании все хотели поесть хотя бы один раз в день, то «непобедимая армия» чиновников алчно пожирала остатки испанского богатства. Где царит деспотия, там привольно размножается бюрократия. Испания изнемогала от такого засилия судей, прокуроров, нотариусов и адвокатов, что казалось, в стране половина людей — это подсудимые, а другая живет для того, чтобы осудить их…

По примеру отца, Филипп II завел себе гроб, и сам принадлежал не живым, а мертвым:

— Лучшие поучения в мудрости исходят из глубины могил.

Уединяясь от людей, недоступный народу, как бог, Филипп II с ожесточением бичевал себя, не сводя глаз с картины Иеронима Босха, изображавшей немыслимые муки грешников на том свете. Ледяной холод исходил от короля, все замолкали и никто не смел улыбнуться, когда появлялась его невзрачная фигура в черных одеждах, с лицом

без мимики, но с быстрым движением зрачков в тусклых, как у дохлой рыбины, глазах.

— Дамы и кавалеры могут танцевать и при мне.

Но танцевать уже не хотелось. Король постоянно мерзнул, кутаясь в меха, которые поставляли ему ганзейские купцы, закупавшие соболей и горностаев в дикой Московии.

— Какие холодные ночи в Мадриде, — жаловался он. — Одна лишь королева может согреть мою стынущую кровь, и это нужно для моего здоровья, для сохранения истинной веры в мире…

Ближе к ночи Эскуриал слышал выкрики стражей:

— Король идет к королеве! — звучало в глубинах замка. — Король прошел к королеве! — отзывалось эхо из горных ущелий, где клубятся туманы и ползают разные гады…

Хамово отродье несло в себе зародыши вырождения и деградации. Визитируя королеву, согревавшую его, король обрел сына, будущего Филиппа III, который до пяти лет не держался на ногах, его водили на помочах, он не умел говорить и был настолько слаб, что даже в юности еще сосал груди кормилиц. Но у Филиппа II был и старший сын — знаменитый Дон-Карлос,

рожденный от первой жены короля, Марии Португальской. Косноязычный, он не мог изложить на словах даже самую простейшую мысль. Но, как это и бывает с идиотами, в нем рано пробудились животные инстинкты, и в возрасте десяти лет Дон-Карлос уже преследовал женщин. Одно плечо у него было выше другого, а одна нога короче другой, весь заросший волосами, как дикарь, он постоянно дрожал телом, словно припадочный. По странному капризу поэтов, они вложили в уста этого безумного кретина речи о свободе человеческого духа и величии гуманизма…

Вот и верь после этого поэтам!

Возрождение породило гуманизм, заставляя человека задуматься о ценности его жизни; Ренессанс нарядил женщин в праздничные одежды, умышленно выставив напоказ красоту человека. Великие мастера тщательно выписывали обнаженные тела, насыщенные румяным соком жизнерадостной плоти, жаждущей любви, света и всеобщего восхищения.

Но Филипп II не выносил чистых и светлых картин о радостях земной жизни, инквизиция карала художников, посмевших изобразить наготу женского тела: им грозило отлучение от церкви, 500 дукатов штрафа и один год ссылки на Канар-

ские острова. Знаменитый Диего Веласкес, позже написавший туалет Венеры, был очень храбрым человеком! Он так старательно обрисовал мощные ягодицы, что в трибунале инквизиции его бы сочли исполнителем воли Дьявола, а художника — кандидатом для бесплатного посещения Ада. Зато картинная галерея Филиппа II напоминала нечто вроде учебно-наглядного пособия для палачей, хирургов, инквизиторов и монахов.

Филипп II с удовольствием созерцал распятие на крестах, вознесение из гроба на небо, картины дьявольских искушений и мученичество святых, отвергавших соблазны, сцены бичевания Христа и непорочного зачатия богоматери, вечные муки орущих от боли грешников. Не спорю, что язвы прокаженных были выписаны с большим знанием дела, а уж если кому отрубали голову, так кровь хлестала из тела, как из трубы, при этом анатомически точно отражалось устройство человеческой шеи в разрезе…

Какие там радости жизни? Откуда им было взяться?

Запуганные инквизицией живописцы Толедо или Вильядидо умышленно прятали красоту, работая над сюжетом, в которых мучеников церкви, и без того изможденных молитвами, теперь

протыкали стрелами, подвешивали на веревках, жарили им пятки на раскаленных углях.

Люди на испанских портретах представали землистыми, словно только сейчас выбрались из могилы. Даже лица испанских красавиц таили в себе молитвенную скорбь и ожидание «сошествия святого духа». Живописцы сознательно усиливали бледность своих персонажей, дабы выделить «чистоту крови» — без примеси рабской крови мавров-морисков или евреев-маранов. Испания была закутана в траурные мантии, женщины не смели обнажать плечи или грудь, напротив, им вменялось в обязательность носить длинные мантии, которые скрадывали силуэты их фигур. Темные одежды лучше всего выделяли бледность кожи, как доказательство благородного происхождения. Придворные дамы избегали солнца, чтобы их загар не вводил в опасное заблуждение…

Чем закончить эту проклятущую главу?

Мне кажется, никогда не устареет блистательный вольтеровский афоризм о том, что «пышные бедра тициановской Венеры нанесли папе римскому вреда гораздо больше, нежели все тезисы Лютера». С этим нельзя не согласиться, ибо человек прежде всего остается человеком, и никто не

смеет отнимать у него человеческое — дьявольскую красоту божественного тела!

10
НАПРЯЖЕНИЕ

Не думайте, что, осуждая Габсбургов, потомков библейского Хама, я стану щадить отродье Ивана Калиты, потомков легендарного Рюрика. Эта династия выродилась в 1598 году, всем своим преступным прошлым подготовив Россию к трагедии «смутного времени», а кровь Рюриковичей уцелела лишь в князьях Горчаковых, Долгоруких, Барятинских, Одоевских и прочих, иные же Рюриковичи смешались с мелким дворянством, иные навек растворились в среде служилого люда, купцов и даже крестьян-однодворцев, растерявших свои семейные грамоты.

Кто был отцом Ивана Грозного — это вопрос, ибо Елена Глинская, жена бесплодного Василия III, была блудлива, как кошка, и фаворитом ее долго называли князя Ивана Овчину-Телепнева. Младший брат царя Ивана Грозного — Юрий Васильевич — был полным идиотом. Андрей Курбский писал о нем: «Без ума и без памяти бессловесен, тако же аки див якой родився».

Ивана IV я никогда не считал нормальным.

Жестокость Торквемады и сладострастие Сарданапала, вместо ума — византийское коварство, его юмор пересыпан угрозами, а его писания, которым досталось немало славословий от историков, это хаотичный набор цитат из священных писаний, перемешанный с ядовитой злобой и ненавистью, заквашенный на крови его жертв и собственном политическом бессилии. Очень храбрый, когда надо казнить людей, Иван Грозный был жалким трусом, когда дело касалось его собственной шкуры.

Историк русской медицины (и сам врач) Яков Чистович упрекал Карамзина за то, что тот не догадался о причинах злодейства Ивана Грозного, человека с извращенной психикой, и такие изверги нуждались в лечении с изоляцией от общества, как и все подобные сумасшедшие, — не их дело сидеть на престолах! Единственное оправдание для Ивана Грозного — это время, в котором он жил, а люди, занимавшие тогда престолы в Европе, мало чем отличались от русского царя…

Искусство так сильно воздействует на людей, что внешний образ Ивана Грозного у нас сложился по знаменитой картине Репина, мы судим о царе по фильму Эйзенштейна, в котором роль

Ивана Грозного играл актер Черкасов… Давайте сразу же отрешимся от подобных представлений! Подлинный царь был могуч телом, имел рост в 179 см, обладал широкими плечами и сильной мускулатурой. Лучше всего царя описал иностранец Даниил Принц, видевший его в Москве: царь, по его словам, «очень высокого роста, тело имеет полное силы и довольно толстое, большие глаза, которые у него постоянно бегают и наблюдают все самым тщательным образом. Борода у него рыжая с оттенком черноты, довольно длинная и густая, но волосы на голове, подобно большинству русских, он бреет (наголо) бритвой. Он так склонен к гневу, что, находясь в нем, испускает пену, словно конь, и приходит как бы в безумие. В таком состоянии он бесится… Некоторые области своих владений он уже превратил в пустыню»…

На этом закончу. Но добавлю, что брат царя Юрий — идиот скончался как раз в том году, когда его царственный брат взял город Полоцк; Юрий умер в том самом Угличе, где имел «кормление» и где будет убит его племянник царевич Дмитрий.

Летом 1560 года молодой князь Андрей Курбский привел в Ливонию войска, которые взяли Мариенбург (Алуксне) и осадили мощную крепость Феллин (ныне эстонский город Вильянди).

Кеттлера там не было, а старый магистр Фюрстенберг, засев в цитадели, палил из четырехсот пушек. Но палил он недолго. Средь ночи его разбудили ландскнехты, которые держа ружья в левых руках, правыми подносили горящие фитили к затравке:

— Кровь на тебе или деньги на бочке! — кричали они. — Почему нам не платят? Выкладывай ключи от подвалов...

В подвалах Феллина были свалены все драгоценности рыцарей Ливонского ордена, бежавших от русских, и бюргеры там же укрывали свои сокровища. Фюрстенберг, сидя поверх постели, смотрел, как догорали фитили в руках этой наемной сволочи, и... тряской рукой он протянул им ключи:

— Вас бы всех перевешать! — сказал он, заплакав...

Через три недели осады Феллин сдался на милость победителей. Русские надавали немецким наемникам кулаками по шее и велели убираться, куда глаза глядят, и те, что попались потом на глаза Кеттлеру, были им перевешаны на Деревьях. Зато Фюрстенберга, рыдающего, повезли в Москву. Старый рыцарь качался на шаткой телеге, оглядывая дымные горизонты, а вокруг

вовсю полыхали замки баронов и мызы дворян: эстонцы и латыши безжалостно жгли и грабили поместья своих угнетателей. Именно в эти дни новый магистр Готард Кеттлер, устав рубить и вешать, почтительно умолял в письме к польскому королю: «Итак, мы глубоко и преданно просим ваше королевское величество скорее прийти на помощь Ливонии в этих жалких и прискорбных обстоятельствах… Повстанцы разоряют нас, немцев убивают и грабят».

Иван Грозный был доволен:

— Заковать в цепи магистра и пусть толпа потешится…

В цепях его водили по улицам на потеху народу. Русские помалкивали. Но средь русских было немало и пленных татар, крымских мурз и ханов, которые оскорбляли старого рыцаря:

— Поделом вам всем, немцам.

— Поделом тебе, старый мерин! Не вы ли, немцы, дали царю те розги, которыми он высек сначала нас, а потом и тебя…

Фюрстенберга отправили на житье в Любим, но иначе сложилась судьба ландмаршала Филиппа Белля, тоже пленного.

— Твой воевода Курбский, — сказал он царю, — просил тебя, чтобы ты дарил меня жизнью, но

ради истины я презираю жизнь и тебя тоже… Кровопийством живешь и кровью ты захлебнешься!

Ему отрубили голову, и это была еще милостивая казнь.

— Мне бы до Кеттлера добраться, — тужил государь…

О многом тужил государь московский, но не было в нем заметно глубокой скорби от потери «чистой голубицы», как называли покойную царицу Анастасию. Зато, очевидно, заметили нечто другое, более значительное. С царем что-то произошло, словно с него сняли узду. Возникало такое ощущение, что дикий жеребец, застоявшийся в конюшне, вдруг вырвался на волю. Иногда мне даже думается, что мнимая вина Адашева — это лишь злобная выдумка Басманова, а царицу извел сам Иван Грозный, чтобы более она не сдерживала его звериных инстинктов. В летописях сказано: «умершей убо царице Анастасии нача царь быти яр и прелюбодественен зело…»

Адашев был послан воеводою в Феллин, только что отвоеванный, а дела Посольского приказа взял думный дьяк Иван Михайлович Висковатов, человек умный и честный, он же стал сберегателем царской печати, почему иностранцы называли его даже «канцлером». С поклоном

дьяк выслушивал решение царя — слать послов в Варшаву, чтобы высмотрели, какова из сестер короля — Анна или Екатерина — покажется лучше:

— Вели ехать до Вильны Федьке Сукину, дабы разведывал без утайки, какая обычаем и телом удобнее? Которая больна или телом суха, о такой бы молчал, а говорить о той, которая не больна и телом не суха. Желательно Катерину Ягеллонку, благо она моложе Аньки, сестры сигизмундовской. Ежели поляки не захотят ее показывать, Федьке Сукину тайно высмотреть, когда эта девка в костел пойдет…

Королевский посол Шимкевич, прибыв в Москву, отвечал, что «круль» согласен бы выдать Екатерину Ягеллонку за царя, но прежде брачевания просит о мире:

— Зачем нам воевать в Ливонии, которая и без того граблена свирепством войска? А если мира не станет, то Екатерину возьмет герцог Финляндский Иоганн, что шведскому королю Эрику доводится родным братом…

Узел завязывался еще крепче, и дело сватовства было отложено ради потех царских. Кремлевский дворец трещал от такого разврата, о каком говорить стыдно, и всех бояр Иван Грозный принуждал к участию в своих оргиях. Один старый

князь Дмитрий Оболенский был печален, от содомских сцен отвращаясь.

— Чаю, не весел ты, князь? — спросил его царь. — Нетто не любо тебе голых девок пощупать?

— А что ты за царь, — отвечал старик, — если такой срамоты вавилонской Москва от начала своего не видывала.

Иван Грозный сделался ласковым, даже прослезился, благодаря князя за верную службу еще при отце его Василии III:

— Ты царский чин блюдешь, князь, и посему за правду твою желаю угостить тебя вином из ручек своих царских.

Оболенский все понял, но кубок с вином принял и, опорожнив его, грохнулся на пол. Царь брезгливо сказал:

— Уж больно пьян, князь! Эй, вынесите его…

Не спесь боярская, а совесть человеческая взыграла в душе князя Михаила Репнина, когда заиграли музыканты, царь велел всем гостям «машкары» надеть (шутовские маски), сам с «машкарою» на лице в пляс пустился. Хотел он было силком напялить на Репнина маску, говоря: «Или ты моему веселью не рад?» Но Репнин растоптал маску шута ногами и ответил:

— Если ты сам скоморох, так я, русский боярин,

твоим скоморохом не стану… хоть режь ты меня!

Через день-два князь Репнин был зарезан в церкви — подле святого алтаря. В эти дни царь казнил родичей Адашева, даже детей не пощадили, а малолеток девочек, еще разума не имевших, постригли в монашество. Постичь причины царского гнева никто не мог. Жила на Москве вдова польская Мария-Магдалина с пятью сынишками, приняла она веру православную, жила себе и никому не мешала. Басманов подсказывал царю:

— Ты вот Алешку Адашева в Феллине держишь, а любовницу его в Москве оставил, она, гляди, колдунья знатная, с ее крыши голуби неспроста над Кремлем летают.

Марию-Магдалину замучили, а детишек ее убили. Стали тут бояре пугаться, говорили так, что, если царя не женить, он злодейств своих не умерит. В это время входил в силу не только дьяк Иван Висковатов, возле царя обретался и князь Афанасий Вяземский; царь настолько верил ему, что даже лекарства, сделанные врачом Ленсеем, доверял сначала пробовать Афанасию, а уж потом, если не сдох Афанасий, сам их принимал… Вот этот-то князь Вяземский и заявился к царю, очень веселый:

— Обрадую тебя, государь ты наш! Приехал из

Кабарды пятигорской черкесский князь Темрюк, а с ним дочка лепоты небывалой. Уж такая дикая, ажно кусается, зато станом гибкая, аки змея подколодная, а в очах ее звезды сверкают.

Иван Грозный воспылал, велев Афанасию похитить черкешенку, но князь от блудливых мыслей царя предостерег: все войска в Ливонии, а Темрюк за честь дочери отомстит войной на юге, Девлет-Гирей за него вступится — тогда беды не миновать.

— Лучше уж крестить ее в нашу веру да чтобы русский язык понимать научилась… Чем тебе не жена? — сказал Афанасий. — Паче того, при дворах султанов мусульманских черкешенки в большой цене за пылкость любовную…

Невеста во крещении стала называться Марией Темрюковной, а в августе 1562 года она стала русской царицей. На горе себе (и на горе народу русскому) воцарилась эта черкешенка, дикая и темная, но развратная и мстительная; она не только не удержала царя от лютости, но сама жаждала крови, сразу возлюбив казни, с хохотом она смотрела, как жарят людей живьем, как отлетают с плахи головы боярские, как разрывают людей на куски раскаленными щипцами. Ни стоны матерей, ни детский плач — ничто не трогало

ее сердца:

— Ой, любо мне! — воскликнула она… Вот именно этой пришлой восточной красавице иногда историки приписывают внушение Ивану тех мыслей, которые позже и породили чудовище — опричнину!

В самый канун царского брачевания случилось событие, какое не могли предсказать ни звездочеты-астрологи, ни самые отважные колдуны… Дело касалось русской Колывани, немецкого Ревеля, эстонского Таллинна!

После пленения Фюрстенберга, когда новый магистр Кеттлер — ради личных выгод — перешел на сторону Польши, когда окрестности Ревеля были выжжены и разграблены, а помощи никто не сулил, магистрат города решил отдать Ревель и всю провинцию эстов под власть Эрика XIV, короля Швеции.

— Мы не рижане, — говорили чины ревельские, — мы не привыкли кормиться от поляков и литовцев, а ближе нам земля шведская с ее королем и его порядками.

Послали депутацию к Кеттлеру, чтобы избавил их от прежней присяги Ливонскому ордену, и Кеттлер покривился:

— Я бы, конечно, желал видеть Ревель поль-

ским, а не шведским, но это ваше дело. Приказывать вам не могу, ибо слагаю с себя высокий сан магистра ливонского, а король польский обещает мне выделить Курляндию и Семигалию, где я успокоюсь навеки с титулом тамошнего герцога…

Ливонский орден, когда-то столь грозный, сумевший покорить всю Прибалтику, был упразднен, и рыцари, проклиная Кеттлера, разбрелись по разоренной стране в поисках добычи или нового хозяина, который бы платил за их умение убивать (а ничего другого они делать не могли, да и не хотели). На этот раз рыцари оказались на распутье многих дорог: можно присягнуть Литве или Польше, короне датских или шведских королей, наконец, можно сложить свой меч к ногам того же проклятого Кеттлера, который собирается стать герцогом всей Курляндии и Семигалии со столицей в Митаве…

На перекрестке дорог встретились одичалые рыцари:

— Я решил день и ночь скакать в Пруссию, где магистры из маркграфов дома Бранденбургского нуждаются в людях.

— Есть дорога короче — ответил другой. — Можно служить и поганому Кеттлеру, ибо его

герцогство тоже вассально королю Сигизмунду, как вассальна ему и вся Пруссия.

— Мне кажется, — сказал третий, — совсем неплохо служить Эрику шведскому, который уже прислал в Ревель корабль с вином и закусками, так что теперь там с утра до ночи все пляшут от радости, а девицы шьют новые платья.

— А если, — заметил четвертый, — плюнуть в лицо судьбе и предложить свои услуги царю московскому?

— Ты и правда, что плюешь дальше всех нас, — отвечали ему. — Но плевки твои вылетают вместе с зубами…

Однако, события в Ревеле обозлили Сигизмунда, считавшего, что за один стол в Ливонии садится слишком много незваных гостей. Он вызвал воеводу Николая Радзивилла, родного брата любимой Барбары, отравленной Боной Сфорца.

— Черный, — назвал он Радзивилла, по цвету его волос, ибо другого брата звали «Рыжим», — тебе надо спешить с войском в Ригу, где сейчас подыхает архиепископ из дома Гогенцоллернов. Боюсь, Ригу утащат у нас из-под носа шведы или датчане. Эрик уже правит в Ревеле, а датский принц Магнус с острова Эзель желает перебраться в эстонский Гапсаль и тоже скулит, как пес,

чтобы его не забыли покормить…

Датский король ополчился против Швеции, а Дания в те времена была опасным соперником. Но скоро шведский король Эрик XIV велел пресечь торговлю Европы с русскою Нарвой:

— Я желаю, чтобы купцы не плавали далее моего Ревеля, где и должны разгружать все свои товары…

Его каперы разграбили корабли Любека, большого ганзейского города, а Любек имел свой флот и привык господствовать на Балтике, как у себя дома; в ответ на грабеж кораблей Любек ответил войной шведскому флоту. Английские купцы тоже не видели прибыли от заходов в Ревель, где жили подачками из Стокгольма, англичане торопились с товарами в Нарву, и английская королева Елизавета I тоже грозила шведам. Так что в Прибалтике завязался столь запутанный узел, что царю предстояло задуматься… Висковатов надоумил его:

— Если порвать прежний мир со шведами, так будем иметь в Ливонии двух неприятелей — шведов да поляков с литовцами. По моему слабому разумению, великий государь, мир с Эриком лучше нам продолжать, а на Ревель пока глаза зажмурить: пусть там пляшут солдаты с бабами

немецкими…

Но плясали там недолго: на Ревель вдруг напал мор, от которого разом померли две тысячи шведских кнехтов (солдат), но эпидемия странным образом не коснулась горожан. Висковатов отправил в Стокгольм послов, дабы обнадежить Эрика XIV миром. Скоро он читал их донесение, что еще с Выборга их «речами бесчестили и бранили, корму не дали… весь день сидели мы взаперти, не евши». Из Стокгольма послы докладывали, что их запихнули в одну комнату без печати и лавок, на прием к королю шли они пешком, а за обедом Эрик навалил перед ними мяса, хотя знал, что они постятся.

Висковатов зачитал царю и конец посольских обид:

— А против наших поклонов король Эрик с места не двинулся, будто камней наглотался, и как сидел в шляпе, так шляпы даже не тронул… Что делать?

— Пусть терпят, — отвечал Иван Грозный. …

«Ливонская хроника» деловито сообщала о том, что князь Николай Радзивилл въехал в Ригу «с большой пышностью и великолепием… с ним было много людей чужих народностей, как-то: армян, турок, татар, подольцев, русских валахов,

а также много немцев, поляков и литовцев… и благочестивые сердца в Риге, видя столько чужих народов, удивлялись и печалились». Печаль их была объяснима, но Радзивилл-Черный все немецкое правление города оставил на своих местах.

Но тут русские воеводы Василий Глинский и Петр Серебряный пошли на Радзивилла, настигли его под эстонским Перновом (Пярну), разбили его и все вокруг разорили…

Война началась! Ливонская — суматошная.

1562 год памятен. Князь Андрей Курбский спалил предместья Витебска, иные отряды русских воинов доходили до Орши. В ответ литовцы жгли и грабили деревни возле русских городов Опочки и Невеля. Сигизмунд отдал бы свою сестру Екатерину за царя Ивана IV, если бы тот согласился на мир. Но мира не было, и он уступил сестру финляндскому герцогу Иоганну, брату шведского короля. Свадьба игралась в Ковно, а король занял у шурина 80 000 золотых талеров.

— Видите как? — усмехнулся король. — Ваша нищая Финляндия, где ничего нет, кроме камней, богаче моей Польши…

Рижский архиепископ Гогенцоллерн был уже в агонии, когда его кафедру решил захватить

герцог Христофор Мекленбургский, сразу же ограбивший сокровища рижских и окрестных замков.

Но это ему даром не прошло. Возмутился Кеттлер:

— Герцог светский выше герцога духовного…

Христофор за обедом зарезал польских офицеров, потом укрылся в замке Делен, где его и взял Кеттлер, продержав бандита-архиепископа пять лет в темнице Митавы. Затем шведы осадили замок Гапсель, на который покушался датский Магнус, шведы дочиста ограбили жителей, вывезя из города все, что плохо лежало, с церквей сняли колокола и отправили их в Швецию, чтобы там колокола переплавили в пушки. «Ливонская хроника» свидетельствовала, что запад Эстонии был опустошен: «бедные крестьяне сами впрягались в плуги, а жены правили ими, как скотом, так как все лошади были уведены…» Война превращалась в настоящий разбой, и больше всех от этой войны страдал простой труженик…

Висковатов докладывал царю:

— У короля Сигизмунда не стало грошей, он войны боится, а потому направил послов к крымскому хану Девлет-Гирею, чтобы тот ударил конницей по границам нашим. Видно, что одних

речей о мире не хватает, чтобы мир наладить.

Иван Грозный указал собирать в Можайске ополчение из ратников, при них было около двухсот пушек, которые в те времена, как и корабли, каждая имела свое название. Русская артиллерия уже тогда была передовой в мире. «Мажоры» (мортиры) били навесным огнем, «тюфики» изрыгали подобие картечи, а «гафуницы» (гаубицы) выпаливали во врагов целые кучи мелко раздробленных камней…

В поход царь взял двоюродного брата князя Владимира Андреевича Старицкого, который не раз отличался в войнах мужеством, он был честен, великодушен, талантлив. Братьев окружала громадная свита, в ней были и царевичи казанские и касимовские — татары! Сигизмунд сибаритствовал в Петрокове, и не хотел даже верить, что в Литву вторглась громадная армия московитов. Он сказал Николаю Радзивиллу:

— Черный, пока эти лентяи тащутся к Полоцку, ты сумеешь опередить их. Если царь захотел сломать зубы о твердость нерушимых стен Полоцка, то за Полоцк мы можем быть спокойны: там сидит опытный воевода Довойна. Надеюсь, — заключил король, — тебе сорока тысяч жолнеров хватит…

Но русские выставили заслон, и Радзивилл не отважился на сражение. Ополчение Руси осадило Полоцк — древний град старой Руси, помянутый не только в летописи Нестора, но воспетый еще в скандинавских сагах. Полоцк и теперь был намного богаче Вильны, имел до ста тысяч жителей, город открывал дорогу на Вильну и Ригу. Царь взмолился:

— Неужто не изольет бог милосердие на нас, недостойных?

«Мажоры», «тюфяки» и «гауфицы» начали обработку крепостных стен. Когда рухнули триста сажен обгорелой стены, воевода Довойна сдал крепость… Узнав об этом, Сигизмунд был в отчаянии и сказал пристыженному Радзивиллу:

— Эта война станет позором моей старости…

В письмах к Девлет-Гирею он упрекал крымского хана за то, что тот не вылезает из Крыма для набега на Русь; король засыпал своими письмами русских воевод, предлагая им бежать в Литву на вольное житье; такое же приглашение к измене получил и князь Андрей Михайлович Курбский. Иван Грозный возвратился в Москву, где жители встречали его с таким же ликованием, как и после взятия Казани. В селе Крылацком, на окраинах столицы, томились, его ожидая, сыновья Иван

да Федор и слабоумный брат Юрий, и он их всех нежно расцеловал, а потом глянул на сжавшуюся возле печки супругу свою Марию Темрюковну:

— Слыхивал, что в блуде живешь… ненасытная!

Потом махнул рукой и больше не глядел на нее:

— И без твоих шалостей вашего добра на меня хватит…

11
БЕГИ, ПОКА НЕ ПОЙМАЛИ

Жизнь Куэваса, всего лишь носильщика королевского паланкина, складывалась прекрасно. Не каждому молодому идальго выпадало такое счастье, чтобы приблизиться ко двору испанского короля, где можно думать о чем угодно, но только не быть озабоченным добыванием обеда.

Мадрид в ту пору считался столицей всего мира, властно диктуя свои моды, свои симпатии и вкусы Вене, Парижу, Амстердаму и даже Лондону; только закоснелый в упрямстве Стокгольм перенимал испанские одежды с брезгливым опозданием, а Московия продолжала париться в дедовских шубах, даже не подозревая, что в этом мире существует такая коварная мода на моду…

Блеск испанского двора казался тогда неподражаем, вызывая зависть иных дворов Европы если не траурным фоном одежды, то хотя бы изобилием сверкающих драгоценностей, выставляемых напоказ грандами, сеньорами и сеньоритами. Позже все это богатство испанской знати делось непонятно куда, но зато точно известна дата ве-

ликого испанского грабежа: в 1810 году Наполеон попросту обчистил Эскуриал, вывезя во Францию десять громадных фургонов, наполненных драгоценностями. Все эти ювелирные изделия были безжалостно исковерканы: сверкающие камни император раздаривал своим дамам и маршалам, как детям конфеты, а испанское золото и серебро навеки исчезло в бурлящих тиглях Парижского монетного двора, превратившись в звонкую монету для финансирования войны с Россией. В ленинградском Эрмитаже уцелели лишь немногие драгоценности двора Филиппа II, в том числе и украшенные «тремя гвоздями» (в память о тех гвоздях, которыми Христос был прикован к распятию).

Ливонская война, в перипетиях которой Мадриду издали было трудно разобраться, кто кого бьет и зачем бьет, эта война почти не волновала испанцев, а Филипп II думал о ней как о борьбе двух «еретиков» — совсем не жалко ливонских лютеран (!), схватившихся с московитами, которые оставались верны византийской схизме (!). Испанского короля, как и римского папу, больше волновали иные вопросы. Шла затяжная война Франции с Англией из-за гавани Кале, а совсем недавно в Шотландии высадилась Мария Стюарт,

католическая королева, соперницей ее в Англии стала королева Елизавета I — и борьба этих двух женщин напоминала, скорее, религиозный диспут католички с протестанткой.

Наконец, политиков Мадрида беспокоило глубокое проникновение мусульман в самое сердце Европы. Венский император Фердинанд I был близок к смерти, а Сулейман Великолепный продвигал свои таборы внутрь Венгрии, делал из нее турецкий «пашалык», султан уже прочно сидел в мадьярской Буде (Будапеште), угрожая владениям венских Габсбургов…

До жалкого носильщика, каким был Куэвас, конечно, не доходили эти кошмарные новости, потрясающие всю Европу, да ему, честно говоря, и не хотелось знать, что творится в мире, ибо важнее знать, какой суп варят сегодня на королевской кухне. Духовные запросы Куэваса были так же ограничены, как у сороконожки, живущей в зловонии отхожего места и считающей, что весь мир заключен в этой блаженной и теплой вонище, и лучшего ничего не надо…

Питаясь объедками с королевского стола, Куэвас насыщал свой убогий интеллект и огрызками тех обывательских слухов, которые едва ли волновали других европейцев. Тогда в Париже

впервые появился табак, завезенный из американских колоний, и дипломат Жан Нико подарил королеве Медичи табачные листья, чтобы, нюхая их, она избавилась от головных болей. Табак сначала нюхали, а затем — по примеру американских индейцев — стали и покуривать. Мода на курение из Парижа перекочевала в Германию, где задымили трубками бродячие ландскнехты всяких национальностей…

Куэвас запомнил разговоры придворных:

— Если строят дом, то не забывают в нем двери, чтобы войти в дом и выйти из дома. Так и в этом случае. Создатель дал человеку одну верхнюю дырку, чтобы он принимал яства, и не забыл сделать в человеке нижнюю дырку, чтобы он освобождался от яств. Но с табаком что-то непонятное. Если человек вдыхает дым дыркой для приема пищи, тогда… где же труба, чтобы он выдыхал дым наружу?

— А на что же тогда человеку даны ноздри?

— Чтобы сморкаться…

Английская королева Елизавета I повелела всем курильщикам табака отрубать головы, чтобы они больше не дымили. Но тут лучше всего обратиться к воспоминаниям самого Куэваса.

…Каждый навоз знай свою кучу, — говорили

испанцы, и я, позже побывав в Москве, удивился, что у русских есть подобная же сентенция: каждый сверчок знай свой шесток!

Я ничем не выделялся среди таких же идальго, имевших счастье прислуживать королевским особам. Но, подражая благородным грандам и приорам церкви, я перенял от них величественный жест, выражающий покорность: моя правая рука была приложена к сердцу, где затаилась вечная скорбь по святой деве Марии. В такой позе, воздев глаза кверху, я застывал надолго, как невменяемый истукан, принимая заслуженные похвалы видевших меня в этот момент:

— Посмотрите, как благочестив этот молодой и красивый идальго! Почему бы нам не сказать королеве, что ему не под силу таскать паланкин по нашим грязным дорогам?..

Божья благодать вскоре снизошла на меня с высот горних, грешникам недоступных: из носильщиков паланкина, еще раз проверив мою родословную по линии отца, меня зачислили в штат пажей нашей прекрасной королевы. Конечно, меня переодели заново, и я был безмерно счастлив, когда служители гардероба назвали меня «сеньором».

Сначала я примерил красные башмаки с фесто-

нами и очень тупыми носками. Потом натянул перед зеркалом штаны-бриччес — короткие и пышные, вроде подушек, костюмеры советовали напихать в них сена и пакли, чтобы эти бриччес раздулись на бедрах пошире. Малиновые трикочулки обтянули мне ноги до самого паха. Возле шеи приятно похрустывал воротник из фиолетовых кружев. Шпага с левого бока лежала почти горизонтально, покоясь эфесом на оттопыренных бриччес, а возле пояса висел толедский кинжал в ножнах, придавая мне мужественный вид.

Именно в эти дни меня изволила заметить графиня Изабелла Оссориа, бывшая с королем на аутодафе в Толедо.

— О, как ты похорошел! — засмеялась она. — Гадкого заморыша из Каталонии отныне и не узнаешь…

Дама была поражена переменою во мне, а я, достаточно возмужавший, невольно восхитился ее перезрелою красотой, как яркой вишней, что надклевана прелестными птицами, отчего ягоды еще слаще. Графиня в тот день была вооружена всем необходимым для дамы: с пояса ее свисали на цепочках черный складной веер, нюрнбергские часы в форме куриных яиц и круглое зеркало в богатой оправе. Оглядывая меня, Оссориа лени-

во перебирала четки, украшенные алмазами.

— Не забывай, — сказала она, — что это именно я просила короля обратить внимание на твое христианское рвение, с каким ты подкладывал хворост под еретиков.

Оссориа закрыла лицо густой черной вуалью.

— О, зачем вы лишили меня случая насладиться красотой вашего облика! — воскликнул я.

— У меня дурной глаз, как у колдуньи, — отвечала женщина, колыша вуаль своим дыханием, — и я нарочно защищаю тебя от лукавого… Ты знаешь мои комнаты во дворце?

Я знал, что они поблизости от комнат королевы.

— Верно. Но я согласна видеть тебя завтра в моем загородном «сигарралес», который ты узнаешь по множеству мавританских завитушек в духе модного платареско… Приди!

Благородная Оссориа приняла меня на простынях из черного бархата, чтобы еще больше выделялась мраморная белизна ее аристократического тела, и нас до самого утра укрыло громадное покрывало, украшенное гербом с «тремя гвоздями» — в знак страданий Христа, спасителя нашего.

— Но будь скромен! — наказала мне дама,

отпуская меня. — Я слишком дорожу честью фамилии своего мужа, и, как настоящая испанка из Памолы, умею быть мстительна… Не забывай о поговорке: всякий навоз да запомнит свою кучу!

Мне, жалкой горсти навоза, было тепло и уютно в королевском хлеву, а сознание, что у меня имеется «дама сердца», тешило мою дворянскую гордость. В моем гербе красовался всего лишь глиняный горшок с кипящей смолой, который когда-то нечестивые опрокинули на голову моего предка, а теперь я приобщился к трем библейским гвоздям, завершившим страдания Христа на Голгофе… Разве это не счастье?

С упоением ротозея я вникал в разговоры придворных, генеалогия которых не вызывала сомнений: среди их предков никто не осквернил себя физическим трудом или коммерцией, ни у кого не было порочащих связей с еврейками или мавританками, никто не подвергался суду инквизиции, зато все прекрасно владели шпагой и умели скакать на лошади. Этикет испанского двора (знаменитый «сосиего») считался древнейшим в Европе и столь стеснительным, что иногда я не знал, как встать, как повернуться и когда кланяться. Парадная фреза на моей шее была столь широка, что мне приходилось пользовать-

ся вилкою с удлиненным черенком, иначе я не мог дотянуться до своего рта. При дворе больше всего рассуждали о любви, о тайнах египетской астрологии, о том, что в подземельях на Мальте благородные рыцари уже научились добывать золото из меди, а писать доносы на еретиков — дело богоугодное. Почти никогда я не слышал разговоров о политике, и только однажды все охотно внимали римскому гостю Рафаэлю Барберини (он был дядей папы Урбана VIII), который недавно вернулся из Московии, где его радушно принимал царь:

— Я был допущен к Хуану де Базилио благодаря рекомендательным письмам от английской королевы и обедал в Кремле. Недавно он женился на черкешенке, а такой товар дорого ценится на рынках, где торгуют невольницами. Но при этом, — рассказывал Барберини, — Хуан де Базилио хлопочет о выдаче ему Екатерины Ягеллонки, ставшей женой герцога Иоганна.

Тут за столом все долго удивлялись:

— Странно! Имея жену-черкешенку, зачем же царю Хуану требовать и чужую жену, уплывшую с мужем из Польши?

— На это трудно ответить, — сказал Барберини, — но, очевидно, русский царь желает иметь Ягел-

лонку в своем обширном гареме, чтобы унизить польского короля Сигизмунда.

— А вам не удалось видеть пленного магистра Фюрстенберга?

Этот вопрос задал сам герцог Альба.

— Нет, ваша светлость, — поклонился ему Барберини, — Фюрстенберг получил в дар от царя город Любим, где и проживает теперь на правах его владельца.

— Что еще вы заметили при дворе Хуана де Базилио?

— Во время обеда бояре стояли, прислуживая, а царь сидел в окружении многих немцев, которых он пленил в Ливонской войне, а затем переманил на свою службу…

Итак, моя жизнь складывалась прекрасно, а мои визиты к графине Оссориа доставляли мне радостное волнение, которое приходилось скрывать под маскою равнодушия, ибо любое волнение считалось преступным нарушением кодекса «сосиего». Во время ночных дежурств при дворе иногда я видел Филиппа II, мучимого бессонницей. Король блуждал по темным залам и коридорам, привратники бесшумно открывали перед ним двери, они же запирали двери за ним и в страшной тишине уснувшего дворца король

казался мне собственным загробным призраком, внезапно выбравшимся из гроба…

Но однажды дворец вздрогнул от истошного вопля: — Лютер прав! А все вы здесь грязные свиньи… Не держите меня… дайте мне выйти отсюда!

В коридорах дворца заметались отблески факелов, раздался топот стражей, куда-то бегущих, мимо меня, развеваясь сутаной, пробежал духовник Дон-Карлоса, скоро еретический вопль затих, придушенный так, словно на кричащего навалили гору подушек, под которой он и задохнулся…

В обществе пажей королевы у меня завелся приятель Мигель дон-Падилья из Алькасара, который, подобно мне, был далек от «рикосомбрес» (знати), скромно именующий себя «кабальеросо» (кавалером). Мигель был опечален, ибо его отец унизился занятием торговлей, что грозило моему приятелю удалением от двора, где жилось нам совсем неплохо. Но мне нравилось общение с Мигелем, его начитанность, и потому я откровенно делился с ним всем, что знал, что видел, что слышал.

— Сегодня на кухне дровосеки говорили, что Дон-Карлос уклонился в ересь и желал бежать из Испании, чтобы укрыться в еретической Англии.

Неужели, восхваляя гадину Лютера, он не боится оскорбить своего благочестивого отца?

Мигель дон-Падилья отвечал мне шепотом:

— Слушая дровосеков, можно самому уклониться в ересь. Вернее другое: Дон-Карлос помешался, когда его невеста стала женою его же отца. А недавно, — добавил Мигель, — будучи в Алькала, он упал ночью с крутой лестницы и разбил голову, отчего и сделался неистов...

Двор был взволнован, когда в порыве необъяснимой ярости Дон-Карлос бросился на герцога Альбу, чтобы его зарезать, но Альба скрутил его в узел, словно матрос мачтовую веревку. Наконец, от конюхов короля я однажды услышал, что принц совсем лишился разума, превратившись в скотину:

— В потемках дворца он выждал свою мачеху и пытался увлечь ее в свои комнаты для насилия...

Об этом я рассказал графине Оссориа, и она, лежа рядом со мною, со смехом ответила, что с этим «дураком» королю предстоит еще немало повозиться:

— Но когда он слишком буянит, его связывают. Духовник откладывает требник и ставит Дон-Карлосу клизму, в раствор которой наш мудрый король добавляет чуточку яда с невинным апте-

карским названием «Requiescat in pace»... Я имел несчастье рассказать об этом Мигелю.

— Откуда тебе известно даже название королевского яда, который является секретом для всех? — побледнел он.

— Со слов дамы своего сердца.

Мигель поразмыслил и вдруг стал смеяться:

— Боюсь, тебе, как и Дон-Карлосу, тоже поставят клизму, чтобы ты не болтал лишнего. Конечно, под покрывалом, расшитым гербами с «тремя гвоздями», дело всегда найдется. Но лестница, ведущая в спальню графини, настолько узка, что нам будет трудно разойтись, не задев один другого...

Ночью я был доставлен в трибунал священной инквизиции. Ничего страшного я тут не обнаружил. В обширной палате, украшенной одиноким распятьем Христа, меня поджидал вежливый монах с приятным добродушным лицом, который ласкал на своих коленях жирную кошку, благодарившую его мурлыканьем.

С явным сочувствием инквизитор встретил меня словами:

— До чего же много негодяев развелось на белом свете, которые своими доносами не дают нам, бедным, пожить спокойно... Вы догадываетесь,

кто сочинил донос на вас?

— Догадываюсь, — отвечал я, весь холодея. Инквизитор не стал называть имени моего приятеля:

— И вы не называйте, ибо все равно ошибетесь. Мы, сидящие здесь, обязаны вступаться за невинных, дабы покарать лжецов и еретиков. Но донос на вас оказался настолько омерзителен, что мы не можем отложить его в сторону, как недоеденную лепешку. Теперь мы вправе осудить вас.

— За что? — упал я перед ним на колени. Кошка замурлыкала еще громче, ублажая монаха.

— Если не за ересь, так за оскорбление его королевского величества. Откуда вам известно название яда?

— Проклятый Мигель! — закричал я, вскакивая с колен. Инквизитор записал тут же его имя:

— Теперь произнесите его фамилию. В любом случае вязанка хвороста для вас обоих уже приготовлена…

Я зарыдал. Инквизитор искренне пожалел меня:

— Вы можете отомстить доносчику. Скажите, с каким выражением на лице он принимал причастие от истинной церкви? Не замечали вы в ком-либо из придворных наклонности к люте-

ранской или кальвинистской ереси? Не спешите с ответом.

Я обещал инквизитору вспомнить все, что знаю.

— А почему вы не просите у нас адвоката? Я понимаю, вы не в силах оплатить его услуги, но Санта-Оффицио благожелательна к бедным, и адвокат найдется… бесплатный.

Не знаю, каковы другие адвокаты, но этот мерзавец долго пугал меня муками ада, а потом разложил уже заготовленный лист генеалогического древа моего старинного рода:

— Поступая на королевскую службу, вы скрыли свою нечистую кровь. Ваша прапрапрапрабабка была из мавританской семьи Гренады, и это многое меняет. Но господь милостив, он простит вас, если укажете не только своих врагов, но и друзей.

Тут я понял, что, назвав врагов, я выдам друзей, а друзья, попав сюда, сделаются моими врагами. Я ответил, что прежде хочу пройти церковное покаяние, дабы предстать перед трибуналом Супремы с чистым сердцем, и это понравилось инквизитору, который пощекотал кошку за ухом:

— Хорошо. Облегчите себя покаянием, и мы продолжим беседу. Но предупреждаю вас: если

сами не явитесь, вам заранее будет вынесен приговор, как злостному еретику…

Думаю, со мною поступили столь мягко еще и потому, что я был беден, а конфискация моего имущества могла вызвать лишь горький смех инквизиторов, ибо кому нужны мои штаны-бриччес с чулками и моя наваха? Отпуская меня под утро, инквизитор запретил мне ношение одежды из шелка, велел не есть мяса, яиц, творога и рыбы, чтобы, постясь, я готовил себя к предстоящему очищению. Ощутив свободу, я долго шлялся по улицам Мадрида, даже не зная, куда иду и зачем. Наконец, я забрел в ближайшую тратторию. Божий перст указал мне этот трактир, ибо здесь же я встретил Мигеля дон-Падилья, который почти в ужасе отступил от меня.

— Как? Тебя… это ты?.. Тебя разве выпустили?

— Да. Правосудие свершится…

С этими словами я выхватил из-за пояса наваху и всадил ее по самую рукоятку в сердце Мигеля, который сразу же рухнул навзничь, с грохотом обрушив столы и табуретки.

— Держите его! — закричал трактирщик, а я побежал… Я летел по кривым переулкам Мадрида, словно обретя крылья. Но, оборачиваясь, видел толпу нагонявших меня, и с каждой улицей толпа

увеличивалась, а мои силы убывали.

— Убийца! — слышал я крики. — Именем короля и самого господа-бога, если кто верующий, задержите его…

Я понял, что погиб. Переулок извивался вдоль длинной стены, сложенной из грубых камней. Я с разбегу перемахнул эту высокую ограду и вдруг оказался…

Я оказался в прекрасном саду! Это был рай.

Именно этот «рай» и стал для него капканом.

12
ЭМИГРАНТЫ

До революции близ Ярославля самое богатое село называлось Курбы, из него и вышли князья Курбские. А под городом Ковелем, в селе Вербки, была строена церковь над гробницей князя Андрея Михайловича Курбского, о котором много писали раньше, пишут и теперь, но единого мнения о нем, кажется, еще не сложилось. Мне, автору, да позволено будет изложить знаемое так, как я понимаю, и пусть это будет мое личное, авторское, мнение, — осуждая Курбского, будут, наверное, судить и меня… Согласен: судите!

После полоцкого триумфа, нахваливая своих воевод и пушкарей, Грозный отправил любимца своего Курбского на дерптское воеводство, и князь почуял в этом изгнании признак близкой расправы. Просил он тогда печерских монахов:

— Многажды вам челом бью, молитеся обо мне, окаянном, понеже напасти и беды от Вавилона кипеть начинают…

Тяжело было на душе Курбского. Недолго и жил, а сколько лошадей под ним пало в сражениях,

сколько раз вылетал из седла, весь израненный, в битвах ратуя. Но боли телесные — ничто, вроде детской шалости, ежели сравнить их с муками душевными. Слышал Курбский — стоном плачет земля русская, земля отчая, скорбят вдовы и сироты, а царь окружил себя прихлебниками да всякими «стратилатами», словно Змий Горыныч, на весь народ огнем пышет. Курбский сам пленил ландмаршала Филиппа Белля и, отправляя его в Москву, просил царя миловать рыцаря, «бо муж не токмо мужественный и храбрый, но и словеста полон, и остр разум (его) и добру память имуща». Царь отрубил Беллю голову, как барану…

— Не стало на земле правды, — скорбел Курбский. — А коли правды нет, так и ничего нету… И несть людей на Руси! — воскликнул князь. — Некому стать человеком!

В этом он ошибался, ибо «московская деспотия» еще не могла дотянуться до русских провинций и окраин страны, где жил непобедимый народный дух, где рождались богатыри, вроде Ермака Тимофеевича. Но даже в самой Москве бывали «светлые мужи», идущие наперекор деспотизму. Безвестный инок Филофей громил астрологию, он смело утверждал, что нет смысла Руси иметь

календарь, ведущий отсчет годам от мифического Сотворения Мира. Вассиан (князь Патрикеев) укорял духовенство за то, что златят купола церквей, тогда как народу бедному не купить ни хлеба, ни соли, чтобы посыпать краюху хлеба. Шереметев и Висковатов, рискуя своими головами, отказывались от участия в крестных ходах, даже если сам царь возглавлял эти крестные ходы…

Ночь опустилась на кровли древнего града, заложенного еще Ярославом Мудрым в веки приснопамятные. Теперь в Дерпте-Юрьеве только псы лаяли да перекликались стражники — всех жителей города царь разогнал по русским закутам. Курбский еще раз перечитал письмо от литовского воеводы Николая Радзивилла-Черного, писанное от имени короля Сигизмунда, сулившего князю имение в Литве и спокойное житие до старости. Свернул бумагу.

— Не царь московский, а круль варшавянский заливает масло в мои лампады, — произнес Курбский…

Когда пал Полоцк, царь пушкарей да «стратилатов» (полководцев) своих нахваливал, а Курбский в изгнании своем — от Москвы подалее — ощутил признак близкой расправы. А если бежать?.. Это простолюдье сидело на земле, прикованное к сво-

ему тяглу, словно к колоде тюремной, а бояре-то бегали — кто в Литву, кто сразу в Польшу, а иные, совсем отчаясь, бежали даже в Крым, ибо среди татар жилось спокойнее, нежели дома, где не сегодня, так завтра тебя клещами рвать станут, на огне изжарят…

— Что теперь человек? — размышлял Курбский. — Ныне даже кошкам и собакам не бывать живу, всех под корень сведут, словно траву дурную.

Человек толка государственного, воитель опытный, Курбский видел, пожалуй, то, чего не мог уже видеть царь, ослепленный своим величием. Россия скудела с каждым годом, год от года вместо пашен росли пустоши, а Ливонская война, начатая наскоком, без политической и военной подготовки, скорее, ущемит Россию, нежели добудет ей славу. «Для Курбского, навлекшего немилость царя, — писал профессор А. А. Зимин, — отъезд был единственным шансом на спасение, трактуемым им как осуществление законного права выбирать любого государя и служить ему, единственной возможностью довести до сведения всех подданных критику в адрес монарха…»

Курбский решил остаться честным и казну воеводскую даже не тронул. Но московских денег при нем было всего 44 рубля (остальные

деньги он имел в дукатах, золотых и талерах, прибереженных заранее). Исторически так уж получилось, что соседняя Литва, ставшая врагом отечества, сделалась ближайшим убежищем для всех бежавших от царского гнева.

Плохо было боярину! Жена в Москве и уже на сносях, дети малые без отца останутся. Взять бы их, да… как? Стронь семью из Москвы в сторону рубежей, царь сразу заподозрит, и тогда жди беды неминуемой. Курбский средь ночи, весь в разладе чувств, вызвал верного холопа Василия Шибанова:

— Голова-то у царя безвольна стала, — сказал он, вдоль палат похаживая, — так он рукам своим много воли дал… По всей Руси слыхать говор, как внове царь обижает брата моего двоюродного, князя Владимира Старицкого, и сам царь ему тоже двоюроден. Сам я царскому чину родственен, но иного не вижу, кроме бегства от их милостей. Церковь божия Содому и Гоморре служит, царем нарочито задобрена, дабы не мешала ему кровопийствовать. У меня вон там, — показал Курбский на подпечек в палатах, — важные писания укрыты. Запомни, где. Коли велю, так изымешь их, дабы они глас обрели.

— Бежать из Юрьева трудно, — отвечал Ши-

банов, — город стерегут со всех ворот, а стены крепости высоки.

— Нет такой стены, через которую не перелезть бы нам…

Все было готово к побегу, добро уложено в переметные сумы. В одну из апрельских ночей Курбский с Шибановым перемахнули через стену Дерпта веревку, по ней и спустились с другой стороны крепости, где их ждали оседланные лошади. Князь легко вскочил в седло, торопя своего холопа:

— Скачем! Нас ждут в Вольмаре… Уж не знаю, что ждет меня впереди, но жалость имею к семье да книгам своим, кои покидаю, как вор, вместе с отечеством.

— Не словят ли нас, пока скачем до Вольмара?

— В чужой земле ныне безопаснее, нежели в своей…

Они скакали в Вольмар, где четыре года назад Курбский наголову разбил литовские войска Радзивилла, призвавшего его в объятия своего короля (Вольмар — нынешний город Валмиера — в древности был русским градом Владимирцем). Скакали, скакали… Голову Курбского укрывала богатая шапка из рыжего меха, и Шибанов советовал снять ее.

Тут набежали местные дворяне, лисья боярская шапка досталась самому главному в городе. Напрасно Курбский призывал рыцарей к благородству, напрасно потрясал охранной грамотой.

— Так она подписана королем польским, — отвечали ему, — а мы умнее рижан и покорились королю шведскому…

Ограбленные и опозоренные, беглецы кое-как дотащились до Вольмара, и крепость приветливо распахнула перед ними свои ворота, а в воротах пялились на земляков Тетерин и Сырохозин, переметнувшиеся к литовцам еще раньше:

— Возблагодарите бога, — говорили они, — за то, что живы остались. Ныне даже волки по ливонским дорогам не бегают, как бы их люди не загрызли…

Обвыкнув на новом месте, Курбский больше всего сожалел о своей библиотеке, и польские воеводы, дабы угодить знатному эмигранту, предлагали царю даже обменять библиотеку на русских пленных. Немало бояр бегали в Литву из Руси, но еще никто из них не пытался писать царям о причинах своего отбытия в эмиграцию. Андрей Михайлович Курбский был первым, кто издалека вызывал Ивана Грозного на словесный турнир, чтобы помериться силами в борьбе за

правду:

Царю, прославляему древле от всех,
Не тонушу в сквернах обильных!
Ответствуй, безумный, каких ради грех
Побил еси добрых и сильных?..
Безумный! Иль мнишись бессмертнее нас,
В небытную ересь прельщенный?
Внимай же! Приидет возмездия час,
Писанием нам предреченный…

Василия Шибанова поймали близ Юрьева и, заковав его в цепи, доставили в Москву чтобы разорвать, как паршивую собаку! Тиран, прочтя послание Курбского, впал в неспокойное уныние. Некий старец Борис Титов застал его в глубокой меланхолии, царь сидел, облокотившись на стол, перед ним стояло блюдо с объедками. Увидев Титова, он усадил гостя подле себя, велел доесть за него все, что осталось.

Титов, дабы угодить царю, даже вылизал тарелку.

— Вижу, любишь ты меня*г* раб мой верный?

— Аки пес предан тебе, о великий наш госу-

дарь!

— Это мне любо, — отвечал царь. — Желаю по-царски одарить пса своего, так наклонись поближе ко мне.

Титов наклонился, а царь отрезал ему ухо. Отрезанное же ухо с поклоном нижайшим вернул его владельцу:

— Возьми на память о моей доброте. Мне для верных слуг, сам о том ведаешь, ничего не жалко.

Стерпев боль, несчастный жизни возрадовался:

— О, великий государь! Не изречь мне благодарности за добро твое, век за тебя бога молить стану…

Но ухо отрезав, царь оставил Бориса Титова в живых, и тот тихо убрался, рыдая от такой небывалой милости.

Жена Курбского была замучена в темнице, с нею убили и сына малолетнего, а младенца, которого она родила, Басманов прикончил одним ударом об стенку. Затем собрали всех слуг в доме Курбского, знать ничего не знавших, и всех утопили. Но иное выпало Василию Шибанову: даже под пыткой не отрекся он от своего господина, а когда вывели его перед плахой, чтобы срубить

голову, он бесстрашно кричал народу:

— Всяк у нас смертен, а при вратах райских стоя, не отрекусь от князя, который добра желал земле русской…

Такая стойкость поразила царя, и, упрекая Курбского в измене, он написал ему: «Как же ты не стыдишься раба своего Васьки Шибанова? Он ведь сохранил свое благочестие, перед царем и перед всем народом стоя, у порога смерти, не отрекся от крестного целования тебе, прославляя тебя всячески и вызываясь за тебя умереть. Ты же не захотел сравниться с ним в благочестии…» Тошно было царю узнать, что Сигизмунд обласкал беглеца, Курбский получил во владение город Ковель («княжа на Ковлю», подписывался Курбский) — подобно тому, как и магистр Фюрстенберг получил от царя город Любим.

В гневе царь велел разорить поместье князя — ярославское село Курбы, всех тамошних крестьян побил, а село отдал татарским мурзам ради их «кормления». Ответ на послание Курбского царь писал в отъезде из Москвы, и академик Д. С. Лихачев верно заметил, что сейчас нам трудно, почти невозможно, определить написанное лично царем от того, что он заимствовал у других авторов, для нас неизвестных. Но уж ясно, как

божий день, что вся ругань по адресу Курбского принадлежит перу самого царя: дурак, собацкое собрание, бесовское злохитрие, пес смердящий, злобесное хотение, псово даяние, паче кала смердяе и прочее, — красоты языка Ивана Грозного…

Убежденный в собственном величии, Иван Грозный ни в чем не поступился перед доводами Курбского и, оправдывая себя, он с упорством маньяка утверждал свои главные аксиомы:

— Ежели государь волен людишек своих добром жаловать, то и казнить их головы тоже волен…

По его мнению, если человек и не виноват, то обязан муками и жизнью своей расплачиваться за грехи своих отцов и дедов, которые были повинны перед отцом и дедом самого Ивана Грозного. Вдохновенный, красноречивый деспот, он писал Курбскому, когда совершал объезд владения князя Владимира Андреевича Старицкого, и князь, сопровождая царя в этой поездке, не мог знать, что его царственный братец уже примеривает его удельные земли к будущей опричнине.

Владимир Старицкий еще не знал, что конец близок…

Человек мягкий и нрава доброго, он имел права на престол Рюриковичей, если бы у Ивана IV не родился наследник. Но царь знал, что Владимир

— опасный соперник для его самодержавия, ибо немало бояр хотели бы видеть на престоле не Ивана IV Грозного, а именно Владимира Старицкого. Царь действовал размеренно: отнимал у брата поместья, насыщал его свиту своими соглядатаями, сковывал Владимира клятвами в верности, держал его в пбстоянном страхе, а чтобы страх был сильнее, он принудил его мать Ефросинью Старицкую к пострижению… Юродствуя, он притворялся любящим братом и дарил Старицкому иудины лобзания при всем честном народе:

— Пусть всяка тварь видит ласку мою к тебе…

Так, наверное, гнусная рептилия сначала обволакивает свою жертву ядовитой слюной, чтобы жертва, умиротворенная лаской, легче проходила в гадючью глотку. Запутавшись в делах Ливонии, где сам Макиавелли не разобрался бы, царь все зло за военные неудачи вымещал на боярах. Блаженны остались павшие в битвах, зато в муках кончали жизнь те, кто спасал себя в отступлениях. Война, изнурив государство, ничего, кроме ущерба, не приносила. Зато многим пришлось поступиться. Иван Грозный уже не думал о Ревеле, не зарился на земли эстонские, он даже обещал Эрику XIV свою помощь в борьбе с Сигизмундом, но с одним условием, которое

удивляло тогда и удивляет теперь историков:

— Эрик шведский лучше брата мне станется, ежели получу с него Катерину Ягеллонову, для чего и велю Висковатову, чтобы важное посольство готовил в Швецию…

Ближним своим он пояснил свое странное желание:

— Ягеллонку хочу иметь в досаду королю Сигизмунду, чтобы, позоря ее на Москве, скорее мир с поляками устроить.

Вот логика! Воистину царская — подлейшая логика!

Осенью 1564 года войска Радзивилла повели наступление, и оно было успешно для литовцев, ибо в их рядах ехал и сам князь Курбский, который лучше Радзивилла знал слабые и сильные стороны своего «противника», которым стало для него отечество, им покинутое. Дремотно закрыв глаза, он покачивался в седле, убранном жемчугом, говорил о царе:

— И пусть страх войдет в душу его и пусть сатанинский трепет поселится в костях его, остуженных от разврата…

Это не все. Одновременно из-за лесов дремучих вырвались несметные полчища Девлет-Гирея, и вновь заполыхали зарницы пожаров, царь и

его дворня в ужасе от нашествия не знали, куда бежать и где спасаться, когда гонцы принесли страшную весть:

— Татары уже под стенами Рязани… секут все!

— Господи, с нами крестная сила, — взмолился царь…

Весть о нашествии татар настигла его на богомолье в Суздале, где он был со своей Темрюковной и сыном Иваном. Выручил его, как это ни странно, Алексей Басманов, совершивший свой последний похвальный подвиг. Татары уже штурмовали ветхие стены Рязани, когда он проживал в своем поместье на берегах Оки; он быстро собрал ополчение из мужиков и соседей, взял с собой сына Федора и поспел на выручку вовремя, когда татары уже лезли на стены города…

Штурм был отбит — Девлет-Гирей убрался в Крым в ногайские кочевья. Царь, довольный, начал тешить себя охотой в лесах. А все, что дальше случилось, одни историки склонны считать комедией, мне же кажется, что это была провокация…

Царь, подобно Курбскому, тоже ударился в бега!

3 декабря 1564 года — день был воскресный.

В памяти москвичей он остался торжествен-

но-безмолвным, почти таинственным, словно царь творил какой-то мистический ритуал, суть которого скрыта от непосвященных.

Накануне своего отъезда Иван Грозный обобрал все московские святыни, монастыри и церкви; он забирал с собою всю казну, драгоценные сосуды и кубки, украшенные редкостными камнями, не оставил даже царских одежд.

Отъезды царя именовались «подъемами», но на этот раз «подъем» казался всем необычным. Царь указал боярам, сопровождавшим его, взять жен и детей; за обозом боярским ехал на лошадях «выбор» ратных дворян в полном боевом облачении. Ни сами москвичи, ни даже митрополит не были оповещены о целях отъезда. «И все они были в недоумении и в тревоге такому необычному царскому подъему и шествию неизвестно куда и зачем», — записано в Никоновской летописи…

С царем ехали жена его Темрюковна и царские сыновья.

Неожиданная распутица на целых две недели задержала обоз в селе Коломенском, но потом царский поезд начал кружить вокруг первопрестольной: из села Коломенского — в Тайнинское, оттуда тронулся в монастырь Троице-Сергиевский и, наконец, прямиком отправился в

Александровскую слободу (ныне город Александров), которую Иван Грозный давно укреплял, словно готовил себе цитадель для укрытия. Там, в этой слободе, он и затих, ничем о себе не напоминая, и это молчание царя порождало в Москве неясную, но подозрительную тревогу.

Московские жители недоумевали — что случилось?..

А случилось и в самом деле небывалое, почти необъяснимое: царь покинул престол и, хотя не бежал из страны, как бежал князь Курбский, но оказался внутри своего государства вроде эмигранта, заняв такую же угрожающую позицию, подобную позе явного диссидента Курбского…

Молчание царя затянулось на целый месяц.

13
В ЭТОМ ПРЕКРАСНОМ РАЮ

Итак, наш герой Куэвас, спасаясь от разъяренной толпы, ловко перемахнул через высокий забор, вдруг оказавшись в прекрасном саду, который показался ему раем. Далее пусть он пишет сам, а мы превратимся в читателей.

Рай благоухал такими цветами, каких я никогда не видел в нашей безводной испанской юдоли. Тенистые ореховые кущи симметрично разделялись тропинками; из зелени растений выступал мрамор божественных изваяний. А посреди сада ликующий дельфин, высовываясь из перламутровой раковины, тихо струил чистые воды фонтана. За вершинами дерев угадывалось массивное строение с крышей, поверх которой жаркий ветер-солано раскручивал медные флюгеры, выкованные из меди наподобие старомодных каравелл времен Колумба.

Опомнясь, я услышал, что за оградой кричали люди, в ворота райской обители бились крепкие кулаки:

— Откройте! Кто бы тут ни жил, пусть даже

гранд или сеньор. Мы видели, что убийца скрылся у вас… Именем короля и во имя пресветлой девы Марии выдайте нам убийцу!

Невольно обернувшись, я даже вздрогнул. За мною, появясь неслышно, пожилой человек углубился в чтение молитвенника, и читал с такой отрешенностью, будто ничто в этом мире его не касалось. Черная сутана была украшена на груди квадратной белой манишкой, а с запястья левой руки свисала почти до земли гирлянда четок, крупных, словно грецкие орехи.

Дельфин безмятежно орошал водою ветви деревьев.

Незнакомый монах вдруг громко захлопнул молитвенник:

— Ты слышишь, как ломятся в наши ворота?

— Да, слышу.

— Может, их впустить? — с улыбкой спросил монах. — Кажется, ты свершил нечто ужасное, и горожане просят выдать тебя на расправу… Скажи, чем ты вызвал такой гнев людей?

Не знаю, что толкнуло меня сказать правду:

— Я зарезал соперника. Укройте меня.

— Укрыть тебя, значит укрыть грех твой…

Утверждал он это? Или спрашивал? Я не понял. Его рука вдруг выхватила из-за моего пояса

наваху:

— Вытри ее от крови. Ты знаешь, куда проник?

— Не могу понять, но… такой дивный сад.

— В этом саду ты можешь потерять все, что имел раньше. Но здесь же ты можешь вернуть себе все потерянное…

Монах говорил с акцентом, отчего я понял, что он не испанец. Меня провели в дом, укрытый деревьями. Здесь мне бросили монашескую рясу и быстрыми движениями бритвы обозначили на макушке головы монашескую тонзуру. Затем монах сунул мне в руки молитвенник, указывая следовать за ним. Мы смело открыли ворота, и перед разъяренной толпой, готовой ворваться внутрь, монах громко крикнул:

— Вам нужен ад, а вы ломитесь в рай. Здесь резиденция святейшего ордена «Общества Иисуса», и разве мы, верные псы господни, стали бы укрывать убийцу?

Я, опустив глаза долу, вслух читал молитвенник.

Снова лязгнули железные затворы, запирая обитель.

Так я случайно попал в испанскую конгрегацию иезуитов, ворота которой нерасторжимы для непосвященных, но я избежал ворот, угодив

внутрь конгрегации иным путем — через забор. Пламя костров инквизиции уже опалило мне лицо, и, естественно, что я, мучимый страхом, не постыдился спросить — могут ли братья ордена спасти меня? Ведь я убил не еврея, не мавра, а христианина, верного святейшему престолу… Меня утешили словами:

— Наш орден подчиняется, одному папе римскому, никого не выдавая его инквизиции. Мы можем выдать виновного не духовным, а только светским властям, чтобы они сами решили, выдавать или нет его дело на суд Санта-Оффицио…

Впервые я встретился с такой изворотливой казуистикой, которой позже в совершенстве овладел сам. Мне ведь не сказали, что я буду выдан инквизиторам. Но при этом дали понять, что в их власти поставить меня на костер. Первую ночь я провел в тесной келье, где, кроме молитвенника, обнаружил томик Боккаччио и, раскрыв его, я заметил жирно подчеркнутые слова. До сих пор я помню их наизусть: «Лучше грешить и потом каяться, нежели не грешить и все-таки каяться…» Только теперь я понял, что спасен:

— Твоими молитвами, о пресвятая дева Мария!

Придется выдать некоторые тайны, которые не могли быть известны Куэвасу, но известны мне,

живущему в XX веке.

Дело в том, что папа Павел IV открыто ненавидел Филиппа II, желавшего стать высшей главой католического мира, отбивая тем самым кусок хлеба у самого папы. Это соперничество не могло привести к добру, и Ватикан, вооружаясь, вербовал в свою армию даже немцев-лютеран, которые плевать хотели на папу, лишь бы папа не забывал им поплачивать. Со стороны Неаполитанского королевства, входившего в корону Филиппа II, герцог Альба угрожал папе скинуть его с престола божия. Конечно, в таких условиях иезуитам, прислужникам Ватикана, нелегко было освоиться среди испанцев. Кое-где их преследовали, в Сарагосе они были даже избиты прихожанами. Испанская инквизиция враждовала с иезуитами, считая их иллюминатами-еретиками, тем более, что все грязные дела, и даже развращение женщин во время исповеди, иезуиты вершили в своем узком кругу, не выдавая виновных на суд инквизиторов. В это время генералом ордена (третьим после Игнацио Лойолы) стал Франческо Борджиа, который тоже попал на допрос в испанскую инквизицию в Вальядолиде, обвинившую его в тайной ереси. Но Франческо Борджиа, бывший вице-король Каталонии, потомок по отцу

и матери испанских королей и римского папы Александра VI, был не такой персоной, чтобы дал себя поджарить. С ним считался сам Филипп II, а потому орден иезуитов в Испании постепенно обретал большую силу. Наверное, этими обстоятельствами, укрытыми от взора посторонних, и можно объяснить то, что мадридская конгрегация сознательно укрыла Куэваса от возмездия…

Первые двадцать дней он жил в резиденции, таясь от правосудия за высоким забором, и никто его не беспокоил. Он делил с иезуитами их сытную трапезу, читал светские романы, ему было даже хорошо. Но иногда Куэваса ошеломляли совсем неожиданными вопросами:

— Что главное ты видишь в булавке?

— Острие.

— А что примечательно в алмазе?

— Сияние.

— Думаешь ли ты о смерти?

— Нет. Но она для всех неизбежна…

Куэвас не мог не заметить, что среди иезуитов не было общей молитвы, никто не распевал их литургическим хором. Но когда он счел свое убежище монастырем, его поправили:

— У нас нет монастырей, а обители наших конгрегации — это подобие военных бивуаков:

сегодня мы здесь, а завтра в пути, чтобы оказаться там, где угодно генералу ордена. Мы находимся в вечном движении к цели, и у нас нет времени для остановок, чтобы предаваться общей молитве. Каждый из нас творит свою мессу, когда ему заблагорассудится…

Однажды, вспомнив прежнюю жизнь и дружбу с Мигелем, которого он зарезал, Куэвас невольно предался отчаянию, но иезуиты ласково ему объяснили:

— В чем же твой грех? Если человек стал мертв, значит, смерть его была угодна господу Богу, который именно тебя избрал для свершения своей воли…

Куэвас писал: «О, как мне стало легко и сладостно после этих слов утешения, и отныне я уже не терзался совестью, совсем перестав думать о загубленной жизни, которую пересекла рука всевышнего, вложив кинжал в мою руку». Конечно, он не мог знать, что — независимо от его воли — он уже включен в жесткую систему иезуитского воспитания для нужд ордена. В первой ступени проверки он назывался «индефферентос» (выжидающим), а само подворье ордена стало для него «домус пробатионис» (домом испытаний). В состоянии выжидающего Куэвас еще не за-

мечал, что подвержен строгому наблюдению; исподтишка его изучали со всех сторон и, отвечая на вопросы братии, он невольно обнажал свой характер, свои пристрастия и свои вкусы. Никто не торопил его сделать первый шаг. Однажды он сам изъявил желание чем-то помочь братии в их жизни, во многом еще загадочной для него.

Просьбу его приняли благосклонно. Потом дали грязное ведро и открыли перед ним выгребную яму с нечистотами.

— Если ты столь благодарен нам, — было сказано, — так вычерпай все дерьмо. Мы тоже останемся тебе благодарны!

Так впервые в жизни он вкусил унижение грязного труда, но, признаться, не очень-то оскорбился, вдыхая невыносимое зловоние. Когда же отмылся и выветрил из рясы дурной запах, резидент миссии Суарец просил его сопровождать в вечерних прогулках по саду. Это был добрый и веселый старик, говоривший с юмором завзятого эпикурейца:

— Ах, молодость! Я тебя понимаю… Ты начитался глупых книжек, в которых лошади скачут через пропасти, словно лягушки через канавы, а благородные рыцари не успевают нанизывать на свои копья по сотне сарацин сразу, будто все

неверные — это жалкие маисовые лепешки. И за все эти подвиги в конце концов прекрасные дамы позволят тебе выпить кувшин воды, в котором они обмыли свои благородные чресла…

Исподволь иезуиты разрушали прежние рыцарские идеалы Куэваса, присущие всем молодым идальго. Когда первый срок испытания миновал, ему было заявлено со всей строгостью, какой он никак не ожидал, и даже — грубо:

— «Общество Иисуса» не может без конца содержать посторонних. Мы спасли тебя от гнева уличной толпы, а теперь можешь убираться отсюда. Ворота открыты.

— Куда же я денусь? — растерялся Куэвас.

— Свет велик. Иди куда хочешь.

Куэвас впал в отчаяние. Иезуиты и сами знали, что при дворе ему нечего делать, а, стоит показаться на улицах Мадрида, его схватит инквизиция, которая ко всем грехам припишет и убийство Мигеля… Куэвас взмолился:

— Я согласен делать все, только не изгоняйте меня. Если можно, сочтите своим собратом… спасите!

Его заперли в темной келье, три дня не давали воды и хлеба. Потом к нему ворвалась толпа братии, и он не узнал в смиренных братьях прежнего

благочестия. Они словно озверели! Поставив Куэваса на колени перед распятием, он был осыпан угрозами, порицаниями, оскорблениями:

— Нечестивец, желающий даром познать рай!

— Он же притворщик… гнать его отсюда!

— Откуда он взялся, этот слизняк из винной бочки?

— Оплюем его, братия…

Его оплевали с ног до головы, а почтенный казначей высморкался ему в лицо. Толкаясь в дверях, иезуиты покинули его, продолжая громко возмущаться. Куэвас вышел в сад, похожий на рай, и мраморный дельфин, вздымая фонтан, щедро отпустил для него воду, чтобы он утолил нестерпимую жажду, чтобы обмыл со своего лица плевки. Здесь его застал Суарец, похваливший его смирение.

— Ищи спасение в себе самом, — сказал он. — Но прежде, чем ты примешь решение, ты обязан дать клятву. Если желаешь служить престолу божию, как верный пес хозяину, сразу отрекись ото всех родственных чувств.

— У меня так мало осталось родственников!

— Но о тех, что остались, ты можешь говорить не иначе, как о покойниках. Заодно, — добавил Суарец, — сразу избавься ото всех привязанно-

стей сердца.

— Проклинаю их! — отвечал Куэвас.

— Но тебе предстоит отречься и от своей родины, ибо пес господень не нуждается в будке, а бегает по всему свету, чтобы всюду слышали его лай, стерегущий престол божий.

— Не быть испанцем? — Это ужаснуло Куэваса, считавшего, что «Испания — превыше всего».

Но его патриотизм был жестоко высмеян:

— А зачем быть испанцем, если можно быть немцем в Германии, русским в Московии или поляком в Полонии? Наконец, нас ненавидят в Англии, и потому хорошо быть англичанином... Разве не хочется быть человеком всего мира?

Куэвас не ощутил момента, когда его воля и гордость были парализованы насилием, и для него навсегда останется загадкой, как и когда он стал воспринимать послушание вроде указания свыше, которое всегда останется для него безоговорочным, неподвластным критике и сомнениям. Переведенный во второй разряд «новициатов» (испытуемых), он был честно предупрежден, что новициаты еще сохраняют право отказаться от службы в ордене.

— Подумай, — предупредили его, — ибо третья ступень «схоластика» уже не позволит тебе

покинуть наш орден, а если вздумаешь бежать, то с твоих ног свалится обувь… Впрочем третья ступень застанет тебя далеко отсюда.

— Где? — спросил Куэвас.

— Отвыкай спрашивать, — отвечали ему. — Приготовься уподобиться трупу, который орден станет переворачивать с боку на бок и таскать по земле туда, где ты нужен. Но впредь ты научишься ценить в алмазе не сияние, а лишь его бесподобную твердость, какой станешь обладать сам, и ты сделаешься острее булавки, дабы проникать в сокровение душ… Скажи, разве не хочешь повелевать людским стадом?

— Хочу! — бестрепетно согласился Куэвас.

— Так оно уже блеет, радуясь, что ты острижешь глупых баранов, а потом сам и выспишься на их мягкой шерсти… А сейчас возьми у садовника лопату и выкопай яму такой глубины, чтобы вылезти из нее с помощью веревки…

Безропотно повинуясь, я выкопал такую глубокую могилу, из которой, казалось, никогда не выберусь. Но когда меня подняли наверх, я услышал голос Суареца:

— Теперь закопай ее. Видишь, из земли торчит сухой кол? Поливай его водою, пока из кола не вырастет дерево.

— Оно никогда не вырастет, — возразил я.

— Ты прав, — согласился Суарец. — Но это тебя не касается. Твое дело поливать кол, веря в то, что дерево вырастет.

Мне вручили хлыст о пяти концах со следами чужой крови и железную цепь, оснащенную колючими шипами:

— Если тебя навещают сомнения или гложет тоска по тому миру, из которого ты пришел к нам, начинай, сын мой, бичевать свою плоть, пока не возликуешь ты духом…

«Чем хуже, тем лучше», — это выражение я слышал постоянно от братии, и выпадал ли град на посевы, топила ли буря корабли на море, навещала ли города чума, — вывод иезуитов был непреложен и четок: «Чем хуже, тем лучше». Я вымотал себе все руки, таская ведро за ведром, чтобы поливать кол, торчащий из земли, но… произошло чудо!

Ошеломленный, я ворвался в келью отца Суареца:

— Мой кол дал первый отросток зелени.

— А ты не верил, — засмеялся резидент. — Ну, что ж. Теперь я стану разговаривать с тобою, как с равным, ибо вижу, что ты проникся духом святым… Садись рядом.

Старый эпикуриец наполнил вином бокалы, разрезал рокфор, о чудесном благовонии которого с такой похвалой отзывался в древности еще Плиний, как о самой желанной пище римских патрициев. Наши бокалы сдвинулись.

— Весь мир открыт перед нами, — возвестил Суарец, — и ты всегда помни, что сказал Иисус своим апостолам: «Вы пойдете на этот праздник, а я еще не пойду на этот праздник, потому что время мое еще не исполнилось. Но когда братья его пришли, тогда и он пришел на праздник, но не явно, а как бы тайно…» Ты, сын мой, тоже придешь на праздник, но тоже втайне, и никто не узнает тебя, веселящегося…

14
ПСЫ ЦАРСКИЕ

Загадочное молчание царя, покинувшего Москву 3 декабря 1564 года и притаившегося, словно зверь, в берлоге Александровой слободы, это зловещее молчание затянулось на целый месяц вплоть до 3 января 1565 года.

Москвичи волновались, не зная что и думать: уж сколько лет стояла земля русская, а такого еще не бывало, чтобы цари бегали от престола пращуров, словно воришки от сундуков обкраденных. Похоже, что царь своим небывалым «подъемом» желал возмутить народ. Нормально ли это? Где еще найти такого правителя, который бы сознательно вызывал смуту в стране?

— Это все бояре виноваты, — кричали на улицах. — Это они, кривобрюхие, довели царя-батюшку, вот и утек от нас…

Русское государство в ту окаянную пору было, по словам крымского хана Девлет-Гирея, «в длину земли его ход девять месяцев, а поперек шесть месяцев» ехать. И вот эта великая страна, казалось, замерла в напряженном выжидании, еще

не ведая, что готовит ей царь в Александровой слободе.

Наконец, царь излил на Москву, словно яд, два послания: в первом писал, что покинул царство свое, в котором поселилась неправда боярская, а второе послание обратил к посадскому люду, сообщая смердам своим, что на них зла не имеет. Этими двумя эпистолами царь как бы разделил подданных на «козлищ и овец»: мол, вот эти виноваты, хочу их казнить, а эти вот невинны, желаю их миловать и голубить.

Москва волновалась в смятении:

— Увы, горе нам, сирым! Бояре-то прогневали батюшку нашего, кто нас помилует, кто оградит от супостата бусурманского? Мы, грешные, остались, как стадо без пастыря, а волков-то сколько округ нас зубами щелкают…

Тут ума много не надобно, чтобы возбудить народ против властей, паче того, бояре не были ангелами, и царь Иван IV загнал клин между ними, сам оставаясь хорошим для одних, а для других делаясь страшным. Митрополит Афанасий, уже немощный старец, заробел, когда к нему подступился народ:

— Веди нас в слободу Александровскую, будем бить челом государю и станем плакаться всем

народом, чтобы не покидал престол отчий из-за козней боярских…

Глуп народ! Сам лез на эшафот — под топор.

Целая процессия бояр, духовенства, посадских и торговых людишек длинной килой потянулась по снежной дороге с иконами и хоругвями в Слободу, царь вышел к ним, все пали в ноги ему, тирану, просили его униженно души рабские:

— Не оставляй нас, великий государь, правь нами как тебе угодно, милуй и казни нас, грешных, коли гнев твой царский вызовем. Уж мы и сами кого надобно извести готовы…

Этого-то Ивану Грозному и было надобно! Отныне его самодержавие крепло желанием народа, который, казалось, сам призывал его не снимать шапки Мономаха. Но, видно, нелегко далось деспоту месячное сидение в Слободе: могло ведь и так случиться, что после его притворства, когда оставлял он престол московский, могли посадить на престол и князя Владимира Старицкого… Да, нелегко было царю желать призыва вернуться. Тут историки замолкают, не в силах оспаривать очевидцев, которые согласно пишут, что царя было просто не узнать — так он изменился и постарел за один месяц.

Таубе и Крузе, будущие опричники, писали, что

черты лица его страшно исказились, взор угас, «у него совсем не осталось волос на голове и в бороде, которые сожрала и уничтожила злоба его тиранской души». Однако, лицо царя выражало при этом мрачную свирепость от ужаса и ярости, «которые кипели в нем накануне нового периода казней…» Челобитье от москвичей Иван Грозный принял:

— Волен отныне я на ослушников всех опалы класть, казнить нещадно измену боярскую, имения их в казну отбирать стану. А чтобы крамолы в государстве не стало, хочу о п р и ч ь от страны свой обиход иметь с людьми мне верными…

«Опричь» (особо) от народа, отделенного от него царской властью, в крови и злобе зарождалась ОПРИЧНИНА.

Историки сколько лет втемяшивали в наши учебники ту фальшивую мысль, будто Иван Грозный мудро стремился к централизации власти, чтобы Москва указала, а Русь исполнила.

Так ли это, спрошу я их. Если он хотел видеть государство единым, как монолит, так зачем он делил его на части, словно разрубая топором сырое полено? Оказывается, деспот недаром сидел в Александровой слободе целый месяц, теперь у него все было продумано… Страна де-

лилась им на Земщину и Опричнину, которая забирала под себя Можайск, Вязьму, Козельск, Белев, Перемышль, Медынь, Галич, Суздаль и другие цветущие города. Даже Москву не пощадил тиран: опричникам отводился Арбат, Сивцев Вражек, Никитская, и всех, кто там жил на этих улицах, вышибали на улицу со всем барахлом — убирайтесь ко всем псам, здесь будут жить опричники.

Но это еще не все! Перед выездом из Москвы царь ограбил ее святыни, как святотатец, а теперь объявил:

— За «подъем» мой и дорогу до слободы Александровской казна пусть даст мне сто тыщ рублей. А я казну свою не обижу и насыплю в нее от тех, кого казнить пожелаю…

Царь вернулся в столицу в феврале и начал казни.

Сразу отлетели с плахи шесть голов, а седьмой мученик был посажен на кол, и сидел, пока кол из глотки не вылез… Бродячие собаки алчно облизывали кол, по которому струилась яркая и горячая кровь, хлеставшая из пронзенного человека…

Москву было не узнать: сколько плачей, стенаний, горести! Всюду скрипели возы, бедные люди тащили на себе домашний скарб, навсегда

покидая родимые жилища, в которых селиться не имели права, ибо их забирали опричники. Но еще страшнее было в провинции, когда царь забрал в опричнину Вологду, Галич, Ярославль, Кострому, Плес и Кашин: всех выгнали оттуда на мороз и гнали по снегу к новым местам… Современники писали об этом, что ограбленные горожане «должны были тронуться в путь зимой среди глубокого снега, так что многие из жен рожали на снегу. Если кто-либо из крестьян в селах или городские жители давали приют больным и роженицам хотя бы на один час, их тут же убивали безо всякой пощады. Мертвый не должен был быть погребенным и делался добычей птиц, собак и диких зверей… Шли нищими по стране и питались подаянием»!

Сотворив молитву вечернюю, Иван Грозный шествовал в опочивальню — к своей жилистой и смуглой Темрюковне, которая слова путного не стоила. Здесь же, при свете лампадок, освещавших иконные лики, постоянно томились три слепых старца, которые, не видя всех безобразий, наперебой ублажали царя-батюшку былинами и сказками. Без их говора царь не мог уснуть, и, когда их фантазия иссякла, он указывал:

— Ну! Хотя бы про Кащея Бессмертного…

Под говор слепцов он засыпал. Тогда старики наощупь отыскивали двери и покидали его, чтобы самим выспаться…

Как тут не вспомнить массовое выселение «раскулаченных» при Сталине? Недаром же Сталин так боготворил Ивана Грозного!

Дело врачей-психиатров выяснить, почему перед каждым злодейством Иван Грозный томился бессонницей, в канун самых лютых массовых казней он мог не спать несколько ночей, в мрачной меланхолии жаловался, что одинок, никто его не любит, все хотят ему зла, чтобы извести колдовским чародейством… «Вниде страх в душу мою и трепет в кости мои, и смирися дух мой», — писал царь еще в 1551 году, одолеваемый страхом, дрожал он скелетом своим от ужаса, но тиран притворился, говоря, будто смирился духом. Истощенный развратом, самым отвратительным, царь безмерно высоко ценил лично себя, много мнил о своих достоинствах.

— Токмо то хорошо на Руси, — говаривал он, — что нашу царскую власть тешит, а все остальное противно нам и недостойно царева звания…

Заметьте, среди распутников не бывает героев, а распутство царя сызмала превратило его в труса. Это в кинокартинах времен Сталина царь

геройски штурмует Казань, а в жизни все было иначе: бояре силком принудили его к походу, а царь, плывя до Казани, горько плакал, боясь за свою драгоценную шкуру. Иван Грозный даже ходил-то не как все люди, а по стеночке, постоянно озираясь, всюду прислушиваясь — нет ли где измены? Живи такой человек в наше время, он до конца дней не выбрался бы из психиатрической клиники, а тогда… Тогда он создал опричнину, рожденную страхом!

До сих пор ни один историк не может четко ответить на вопрос, что такое опричнина и для чего она была создана?

Научных версий множество, но все-таки опричнина, наверное, так и останется для нас за семью печатями — тайной, известной только ее создателю. Во времена Сталина нас учили в школах, что, уничтожая боярскую оппозицию, Иван Грозный стремился к централизации государства. Допустим. Но как объяснить, что, создавая опричнину, он одним махом раздробил Россию на две половины, враждующие одна с другою? Опричнина явилась самостоятельным государством в государстве, а царь как бы умышленно отделился от народа, но при этом оставался главным в стране.

В учебниках моего детства писали, что Иван

Грозный правильно делал, удушая бояр, чтобы облегчить народные нужды. Но теперь мне хочется спросить историков:

— Да, царь уничтожал бояр за их мнимые «измены» и «чародейства». Но как объяснить, что крестьянина вешали на воротах его дома, жену его, изнасилованную опричниками, топили в проруби, малых детишек, даже младенцев в колыбелях, разрубали на части, словно мясо, скотину жгли в запертых хлевах, заодно огнем уничтожали скудные мужицкие посевы хлеба… Неужели вот это и называть «облегчением» для народа?

Недаром же в народе тогда говорили:

— Там, где царь Грозный проехал, там курочка не бегает, там даже собачки не лают…

«Царь грех наших ради», — писал Курбский о царе Иване IV. Но кто же был тогда грешен — вот вопрос! Народ был еще слишком наивен в своих упованиях на мудрость и милосердие царя, так можно ли винить его за это? Русский человек времени Ивана Грозного был глубоко несчастен уже хотя бы потому только, что имел несчастье родиться в том времени. Даже если он уцелел, то кошмары его жизни отразились на детях его, на внуках и даже в правнуках его. Принципы

свободы, задавленные ужасами опричнины, обратятся потом — уже в других веках, в иных эпохах! — низкопоклонством перед старшими, угодничеством и подхалимством, боязнью сказать слово правды в лицо начальнику. Это будет срабатывать незримый генетический код перестраховки, какой сработал во времена Брежнева после звериных репрессий Сталина…

Итак, — опричнина… Что это за зверь такой?

Кремль без царя, в его палатах, боясь молвить лишнее слово, молча заседают бояре — те самые бояре, которых царь огласил «изменниками». Они решают государственные дела, а царь занят другими — опричными. С грохотом рушатся древние усадьбы бояр, и на их месте — подле Кремля — растет Опричный двор, обнесенный высокой стеной, словно крепость. Над железными воротами, куда вводят человека, чтобы он никогда не вернулся обратно, изображены два льва-барбара, а вместо глаз у них вставлены два круглых зеркала, сверкающих на солнце. Вокруг Опричного двора все улицы заняты под жилье опричников.

Вот едут они! Разбегайся, народ, пока не поздно…

Рожи у них сытые, довольные. Ухмыляются.

Возле седел приторочены собачьи головы и

метлы — грозные символы того, что они, как верные псы царские, все вынюхают, всех загрызут насмерть, а метлой выметут из страны «измену».

— Спасайтесь, люди добрые! — слышны голоса. Мигом затворяются ставни, заперты лавки, опустели ряды лоточников, улица пустеет, будто вымерла.

— Господи, пронеси! Кромешники едут…

«Кромешники» — так окрестили русские люди опричников, что явились на божий свет из «тьмы кромешной». Эту тему можно и продолжать. Археологические раскопки в Александровской слободе, столице опричников, проведенные в 1970 году академиком Б. А. Рыбаковым, обнаружили остатки крыши дворца опричников, крытые именно черными (кромешными!) плитками…

Всегда мучителен вопрос: как и где царь-изверг добывал людей без чести и жалости, желающих упиваться страданиями других людей, как упивался он сам, главный «кромешник», венчанный шапкою Мономаха. Точно известно, что вступавшие в опричнину давали жуткую клятву:

— Клянусь быть верным одному государю. Я отрекаюсь от матери и отца своих, не буду знать ни своей родни, ни жениной. Я клянусь не есть и не пить ни с кем, кто остался в Земщине, а знать

буду только свою опричнину… Вот на этом и целую святой крест!

Сигналом для убийств и разбоя было татарское слово:

— Гойда! — или «айда», то есть «начинаем»…

Охотников служить в опричнине сыскалось немало, да не в каждом царь и нуждался. Отбирали молодцов, склонных к разбойничьей удали, к расправам скорым и беспощадным, чтобы ни чести, ни жалости не ведали, а страсть к мучительству похвалы удостаивалась. Вхожий в опричнину как отрезанный ломоть, и, если родители его оставались в Земщине, он даже не помышлял их видеть. А кто нарушил клятву конец был одинаков: убивали опричника, убивали и тех, кого он повидал в Земщине…

Страшен опричник! Понравится ему шапка твоя — отнимет, красивая у тебя жена — тут же насилует. Через заборы они нарочно подкидывали в дома обывателей сережку или колечко, а потом хозяина по судам умучивали, будто он обворовал их. Вовек от опричника не откупиться; а на него, супостата, суда нет; за ним, кромешником, слово царское. Лучше отдать ему все, что есть, а самому по миру идти побираться, только бы в живых оставил…

Так кто же они, эти мучители народа русского?

Наш историк В. Б. Кобрин писал об опричнине: «Знатные бояре и отпрыски захудалых провинциальных родов, воеводы и палачи, тюремщики и дипломаты, царские шуты и лихие наездники, русские и немцы, кабардинцы и татары… Трудно разобраться в этом конгломерате». А столицей этого сброда царь сделал Александрову слободу это был настоящий концлагерь, какие устраивал Гитлер в порабощенной Европе. Сюда, в самые лютые морозы, нагишом и босых, сгоняли «изменников», чтобы замучить их самыми изощренными пытками. Попавший сюда, пусть даже трижды невинный, не возвращался домой — его все равно убивали, чтобы он не вынес наружу правды об увиденном…

Что-то есть общее между опричниками и войсками СС, куда принимали бандитов любой национальности, лишь бы они убивали, никогда не задумываясь над целями убийств. Сталин сыграл зловещую роль в истории нашего народа, он сознательно — в угоду своим наклонностям — фальсифицировал роль опричнины, и сейчас даже страшно подумать, что в постановлении ЦК ВКП(б) от 4 сентября 1946 года отмечалась прогрессивная роль, которую сыграла опричнина

в истории нашего народа.

В истории опричнины меня утешает только одно.

Все эти убийцы, псы царские и «кромешники» были потом уничтожены, как бешеные собаки, другими убийцами, и как тут не вспомнить народную мудрость, гласившую:

— Бог шельму метит!

Рафаэль Барберини, римский негоциант, принятый в Кремле, заметил, что царь обедал в окружении пленных немцев. Сколько их было — неизвестно, но история сохранила для нас имена четырех: Альберт Шлихтинг, Иоганн Таубе, Элерт Крузе и Генрих Штаден. Все они оставили записки о своем пребывании при царе, и мы должны быть благодарны этим немцам, ибо русским в то время было не до того, чтобы писать мемуары.

Ни один историк не миновал записок этих немцев, которые сами выкупались в русской крови. Правда, во времена Сталина, высоко почитавшего сатрапию Ивана Грозного, об этих записках помалкивали, ибо они чересчур откровенно и правдиво рисовали звериный облик сталинского героя и его опричников. Иногда же эти ценные источники попросту игнорировались на том основании, что их авторы, иностранцы,

сознательно желали оклеветать великого государственного деятеля Ивана IV.

Позвольте, разве только мы, русские, можем писать правду, а иностранцы обязательно должны клеветать?

В угоду сталинской версии сами клеветали, упрекая немецких авторов в том, что они якобы сгустили краски, желая опорочить правление Ивана Грозного.

А зачем им «сгущать краски», если они, эти авторы, обвиняя царя в массовых репрессиях, сами же честно признавали свои кровавые преступления в рядах царской опричнины.

Доказано, что все четыре автора писали свои мемуары самостоятельно, писали их в разное время и никак не могли сговориться между собой об одинаковом изложении фактов, ибо позже, удрав из России, они никогда не встречались.

Зато написанное ими очень схоже в изложении событий и подтверждается русскими летописями. Мало того, Шлихтинг и Штаден, Таубе и Крузе писали свои мемуары не для печати, их мемуары были найдены в архивах Европы тогда, когда от их авторов даже костей не осталось.

Но ни один из этих немецких опричников, натворив в России немало зверств, так и не мог

понять главного:

— Что такое опричнина? Ради чего она создана? Зачем опричнина свершала немыслимые зверства, никому не нужные? И ради каких целей понадобились царю эти зверства?

Нам придется вернуть свою память назад — в те самые дни, когда в Лондоне Себастьян Кабот готовил полярную экспедицию Ричарда Ченслера, приплывшего на Русь с северных румбов. Именно тогда ганноверский негоциант Ганс Шлитте сделал в Европе признание, которое казалось невероятным:

— Я видел русского царя, и от него я узнал, что он собирается создать на Руси монашеский или рыцарский орден, наподобие тех, какими перенасыщена Европа…

Не тут ли и затаился секрет всей опричнины?

Создавая ее, царь, наверное, создал орден для истребления противников. Но если, скажем, ливонский орден в Прибалтике крестом и мечом покорял языческие племена (пруссов, ливов и эстов), то опричнина, рожденная внутри русского государства, уничтожала свой же собственный народ. Историки заметили, что опричнина, как рыцарско-монашеский орден, в чем-то удивительно схожа с орденом доминиканским, а

клятва, которую давали опричники, напоминает клятву иезуитов. Такое же отречение от родных и друзей, отречение от родины, и бессловесное послушание высшей власти…

Иногда в общем вопле опричников «Гойда, гойда!», зовущих не щадить ни старого, ни малого, мне чудятся иностранные голоса Штадена, Шлихтинга, Таубе и Крузе:

— О, шорт! Русска швайн, я буду показать твой, где рак зима шифет…

15
ДЕЛА ЖИТЕЙСКИЕ

Кажется, царь уже понял, что Ливонская война — это камень на шее и легко было разделаться с Ливонским орденом, но с коалицией недругов не справиться. Сигизмунд II Август еще в 1563 году хотел замирения с Москвой, согласный даже не требовать возвращения Полоцка, но Иван Грозный, упоенный тогдашними успехами, мира не пожелал. Теперь же думал, как извернуться, чтобы оставить Ливонию за собой, а все шишки свалить на чужую голову. Хорошо бы поставить над Ливонией своего «голдовника» (вассала), царю покорного.

— Но где взять голдовника? — размышлял царь…

Помощь пришла из Пруссии, совсем неожиданная. Великий магистр тевтонского ордена Вольфганг, видя, что его орден разваливается, предложил царю восстановить орден в Ливонии, а потом общими усилиями избавить Пруссию от польского владычества. Иначе говоря, Вольфганг соглашался быть «голдовником» московским, а

не варшавским! Но прусские тевтоны желали освобождения Фюрстенберга, и такая комбинация пришлась царю по душе. Он велел привезти магистра из Любима, где старый рыцарь пообвыкся жить среди русского простолюдства, поправил здоровье поеданием осетров, налимов, стерлядей и севрюжины… Царь встретил его ласково:

— Поганый пес Кеттлер, — сказал он, — отнял у тебя звание и богатство твое, а я тебя разве обидел? Хочу снова сажать тебя в Ливонию, а ты клянись мне, что Ригу, Ревель и все, что мое, там, до самого моря, снова воевать станешь… ради себя постараешься изгнать литовцев и шведов.

Возле царя сидел сын его Иван, рожденный от Анастасии, еще подросток, силился понять отцовские слова. Опричники стояли справа от царя, а земские слева. Генрих Штаден, сам опричник, зорко следил, чтобы царский толмач Каспар Виттенберг точно переводил с русского на немецкий.

Фюрстенберг знал, что царю лучше не перечить, но, человак старый, он уже не дорожил жизнью, отвечая царю честно:

— Не приходилось слыхать, чтобы Ливония до самого моря была твоей вотчиной. Теперь ты устал от войны и потому меня посылаешь, чтобы

я стал библейским козлом отпущения…

Штаден записал ответ царя: «А видел ты пожары, смерть и убийства, помнишь, как вместе с тобою шли в плен московские твои ливонцы? Так говори же, чего ты хочешь?»

— Лучше мне умереть в Любиме среди хороших и добрых людей, — отвечал бывший магистр, — нежели возвращаться в разгромленную Ливонию вассалом московским…

Иван Грозный смирил гнев, а Фюрстенберга отпустил в Любим умирать своей смертью. Непонятное снисхождение царя к немцам будет понятным, если признаем за истину, что русский царь не желал быть русским, говоря посланникам иностранным:

— Я на правде стою, а все русские — обманщики и воры. Я же веду свой корень от римского кесаря Августа…

Боярам приходилось пояснять выражение царя:

— Август-Цезарь обладал вселенной, брата же своего Прусса посадил на берегах Вислы и Немана, отчего и земля тамошняя зовется Пруссией, а в четырнадцатом колене от Прусса был Рюрик, от коего и происходит наш великий государь…

Это сущая правда, что Иван Грозный брезгливо

морщился, когда его называли русским (он даже своих бояр лингвистически выводил от «баварцев»). Именно по этой причине, не довольствуясь браками в России, он всю жизнь искал себе иностранную принцессу. Надо полагать, что дикая Темрюковна была плоха в роли «принцессы», а сам Иван Грозный всегда считал себя женихом завидным, такому, как он, не будет отказа…

При живой жене, без стыда и совести, царь не оставлял дипломатических хлопот, чтобы Эрик XIV выдал ему свояченицу Екатерину Ягеллонку. Ради этого сватовства он в марте 1565 года снарядил в Стокгольм целое посольство во главе с Никитой Сущевым, чтобы «перемирие крепити»:

— Но скажи королю Ирику, что я на сердце кручину возложил, и не бывать мне покойну, покудова Ягеллонку зловредную не выдаст от мужа ее. Еще слыхивал я, что есть у короля Ирика сестра родная Цыцылька (Цецилия), так я, великий государь московский, хочу от той Цыцыльки почати..

Летом того же года царь вторично произвел чистку в Дерпте, высылая его жителей в русские города в Углич, Кострому, Владимир и Нижний. Многих он заманивал на русскую службу, соблазняя многими льготами, каких и русские не имели.

Среди высылаемых оказался дерптский пастор Иоганн Веттерман, человек образованный. Вот с этого пастора и начиналась та странная история, преисполненная тайны, которая не разрешена до сих пор, и вряд ли когда-либо уже разрешится…

Угождая немцам, царь в двух верстах от Москвы выстроил даже лютеранскую церковь, а пастора привлекал к себе для бесед. Выказывая ему особое почтение, Иван Грозный велел открыть перед ним свою библиотеку (либерию), в которой были древние книги, неизвестные европейцам. Писанные на греческом, латинском и древнееврейском языках, эти ценнейшие книги были настолько уникальны, что ученые в Европе едва ли знали о них. А если и слышали об этих книгах, то считали их навсегда пропавшими для мировой науки. Можно догадываться, как они попали в Либерию Ивана Грозного — от его бабки Софьи Палеолог, племянницы последнего византийского деспота, который, наверное, полагал, что Константинополь падет перед турками! А спасти книги можно в Москве…

Пыль погибшего Византийского царства наслаивалась на пыль древнего мира, а сверху их коснулась пыль московских тайников и подземелий, где Иван Грозный хранил библиотеку.

Веттермана уговаривали засесть за перевод книг на русский язык, и тогда не надобно ехать в ссылку, а в благодарность за труд дьяки обещали ему не отказывать в еде и напитках.

Веттерман посовещался со своими прихожанами, за которыми следовал в ссылку, и пришел к мысли, что лучше «предпочесть мертвые листы живым людям»:

— Я не покину вас, братия! Если мы переведем одну книгу, царь заставит переводить вторую и третью, и тогда нас продержат здесь до самой смерти, словно на каторге. Лучше уж отговоримся плохим знанием языков древности… Таинственные книги исчезли там, откуда и появились, — в подземельях Москвы, тайны которых были известны одному Ивану Грозному. Нам, живущим на исходе XX века, остается грызть локти — никогда мы не откроем тех книг, в которых заключена первобытная мудрость наших пращуров. А впрочем… Впрочем, московский метрополитен еще продолжает развиваться, и, может быть, землепроходчики, прокладывая новые туннели, еще откроют для нас тайник, где много столетий лежат именно эти книги…

При Иване Грозном было как бы две Москвы — одна Москва, где жили люди, видимая и явная

столица, а другая была упрятана царем глубоко под землей, и там царствовал он, вроде слепого крота. Иван Васильевич, не будь он ко сну помянут, лучше любого метростроевца трудился всю жизнь, пронизав землю таинственными коридорами, лазейками и погребами, где хранил свои сокровища и где пытал секретных узников. Археологи уверены, что именно в подземной Москве царь со своими опричниками решал, кого убить сегодня, а кто пусть поживет еще с недельку. Опричный дворец находился близ нынешней Ленинской библиотеки; так вот, представьте себе, царь Иван Грозный, войдя в этот дворец, иногда… пропадал. А появлялся на свет божий уже в густом лесу возле Воздвиженки. Вечно движимый страхом, царь загадочно исчезал для всех и таинственно возникал в другом месте.

Страх — вот что загоняло царя под землю, и даже в Александровой слободе, похожей на крепость, он не чувствовал себя в безопасности. Наверное, именно страх, и ничто иное, заставило царя искать новую столицу для государства, где бы он мог укрыться и — на случай бунта — скорее бежать за границу. Таким городом стала для него древняя Вологда, и в 1565 году, сразу после образования опричнины, царь начал поспешно

ее отстраивать.

Вологда стала купеческим городом, обстроенным складами, англичане тянули свои «коммерсиальные» интересы до Нижнего, до Астрахани, пробираясь к персидским дешевым шелкам. Иван Грозный не мешал им, и в вологодском предместье Фрязино основались конторы англичан, немцев, голландцев и шведов, — жизнь в тогдашней Вологде бурлила ключом, все были при деле, все искали выгод.

Царь строил в городе новый Опричный Кремль, копил здесь запасы и казну, как и в Москве, он залезал под землю. Вологодские легенды рассказывают о многом. Не раз жители находили древние погреба, в которых лежали скелеты, опутанные цепями; не раз являлись старикам привидения в иностранных костюмах с кружевами, иные вологжане, наслушавшись легенд, даже покидали свои дома, — и во всех этих случаях народная молва поминала Ивана Грозного, возлюбившего Вологду… Судьба всех тиранов одинакова: сами живущие в страхе, они даже в наследство потомкам тоже оставляют страх.

Москва была запугана казнями и грабежами…

Народ стонал, причитая о невинно загубленных, а, постонав, разбегался куда глаза глядят.

В храмах московских было не протолкнуться, в чаду ладана люди искали защиты у бога, но бог и сам не ведал защиты от опричников. Русское духовенство, когда-то мощная авторитетная сила, при Иване Грозном боялась «печаловаться» за родную землю, и русский народ стал во всем без вины виноватым.

Афанасий, митрополит московский, был духовником царским, и нрава его боялся. На всю митрополию столицы царь возложил гнев свой, будто она покрывает изменников-бояр. Афанасий в дугу согнулся, еле ноги передвигал, дабы всем была видна его немощь. Жалобно просил он царя:

— Дозволь оплакивать мне тобой убиенных.

— Ну, плачь, — разрешил Иван Грозный…

Весною 1566 года Афанасий отпросился на покой, а вместо него поставили в митрополиты Германа Полева; он надерзил опричникам, и царь, надругавшись над его саном, сослал Германа в Свияжск — на прозябание. Никто не хотел заместить его, речистого, но тут Иван Висковатов подсказал царю:

— В обители северной, посреди моря Белого, давно славится святостью и разумом игумен Филипп из рода Колычевых.

— Ты мне Филиппа яви, — указал царь…

Дела духовные перемежались политикой. Сигизмунд давно помышлял о мире с Москвою, но «задирку» к примирению сделали литовцы. Иван Грозный крепко уповал на мир со Швецией, благо король Эрик XIV враждовал с королем польским. Хотя война в Ливонии малость затихла, но из Европы явилась эпидемия по прозванию «венгерская лихорадка». Она сначала проникла в Ревель, откуда перешла в Шелонские пятины, побывала в Новгороде и Торопце, из Можайска переметнулась в Смоленск, где «многие дома затворили и церкви без пения были…»

Весною явились на Москве литовские послы во главе с воеводой Юрием Ходкевичем, с ними был писарь Михаил Гарабурда, человек очень смышленый. Литовцы соглашались, чтобы Иван не возвращал им захваченное, призывая царя совместно с ними изгонять из Прибалтики шведов. Но царь потребовал себе Киев, Оршу, Брест, Галич, Гомель, Ригу, Вольмар, Венден (нынешний Цесис) и Кокенгаззен с замком ливонских магистров.

— А еще скажите всем, чтобы король Сигизмунд выдал мне князя Андрея Курбского, а меня бы титуловал впредь царем ливонским, полоцким

и смоленским…

Тут писарь Гарабурда наивным дурачком прикинулся:

— А отчего бежал князь Андрей в нашу страну?

Иван Грозный сразу изменился в лице:

— Собакой утек от меня, по-собачьи и пропадет…

Чтобы укрепить свое мнение, царь созвал Земский собор, и половина народных депутатов собора еще не ведали, что скоро лишатся они голов. Купцы, бояре и дворяне говорили, что от Ливонии нельзя отступаться, стоять там крепко, войну продолжая. Однако, насилия опричнины становились уже невыносимы. Смелее всех оказались костромичи — Василий Рыбин да Иван Карамышев, которые заявили о том гласно:

— Опричники с большими топорами по улицам на лошадях ездят, будто наше мясо рубить собрались, а нам, христианам, доколе терпети злодейства сии? Коли придумано неспроста, так просто надо закончить — разогнать всех разбойников…

Просто им закончилось: ораторам отрубили головы. Князь Владимир Старицкий, запуганный, со слезами доложил царю, что бояре опять что-то

затевают, но он присяге верен:

— Уж ты, братец, на меня гнева своего не имей…

Земский собор, позволивший царю продолжать войну, был только короткой передышкой между припадками злодейства. Михаилу Темрюковичу, брату царицы, государь повелел казначея своего «изрубить в его же доме вместе с женою, двумя мальчиками пяти и шести лет и двумя дочерьми и оставить их лежать на площади». Таубе и Крузе писали: «Ни один (человек) не знал своей вины, еще меньше знали время своей смерти и что они вообще приговорены. И каждый шел, ничего не зная, на службу в суды и канцелярии. Банды убийц рубили их безо всякой вины на улицах, воротах или на рынке и оставляли лежать, потому что ни один человек не смел предать их земле».

…Итак, Земский собор «приговорил» царя продолжать войну, хотя результаты ее уже тогда были весьма сомнительны. Мне же, автору, кажется, что воинский престиж России не пострадал бы, если бы уже тогда Россия согласилась на мир. Депутатов, желавших войны в Ливонии, я могу оправдать только полным непониманием политической обстановки в Европе, которая не простит русским даже их выхода к Нарве.

Снова вернусь назад к книгам!

Летом 1942 года я, мальчишка, в числе первых юнг нашей страны попал на Соловецкие острова, где величественный одряхлевший монастырь еще хранил многие тайны. Юность всегда любопытна, и, конечно, мы, юнги, облазали все закоулки соловецкого кремля, куда не удосужилось заглянуть наше начальство. Помню, как с лучиной в руках мы, замирая от страха, долго пробирались каким-то узким и тесным коридором со ступеньками, которые то увлекали нас вверх, то круто уводили вниз, и вдруг оказались внутри громадного храма.

Из разбитого купола лился солнечный свет, освещая старинные фрески, а посреди храма высокой горой (не преувеличиваю!) были свалены древнейшие книги…

Тогда нам не казалось это кощунством, и мы подивились только тому, что как много было книг и какие они древние, но, раскрыв наугад одну из них, мы швырнули ее обратно в кучу, ибо нам было неинтересно, — писанная на непонятном языке, покрытая плесенью, которая слепила страницы, эта книга не шла ни в какое сравнение с романами Дюма или Жюль Верна. Так мы и оставили это кладбище древних манускриптов,

погибающих под дождями, лившими сверху через разбитый купол храма.

Случись это сейчас, я бы на своем горбу перетаскал эти драгоценные тонны книжных сокровищ, чтобы спасти их от гибели, укрыть от дождей и снега, а тогда… что тогда взять с меня, юнги? Мы были воспитаны по шаблону: не лезь не в свое дело, начальство лучше тебя понимает. Ладно, я не понимал. Но, видать, и начальство не понимало. Теперь-то я знаю, что соловецкие монахи успели передать в Казанский университет лишь некоторые уникумы древней письменности из своей библиотеки, а остатки ее я видел своими глазами. Мне хочется думать, что среди виденных мною книг были, наверное, и такие, которых касались руки игумена Филиппа.

Об этом человеке мы не забыли, поминая о нем в энциклопедиях, и помянем его сейчас — в канун тысячелетия «крещения Руси». Летом 1566 года, в самый разгар Земского собора, игумен Филипп был избран в митрополиты московские…

16
ВЫСОКАЯ ПОЛИТИКА

Но была еще Вена с императором германским Максимилианом II, который мог бы круто решить распри в Ливонии, благо авторитет императоров был очень высок, но сейчас ему было не до русских… Племянник Карла V, женатый на его дочери Марии, он же король римский, чешский и венгерский, Максимилиан II был устрашен грозным нашествием Сулеймана Великолепного.

Османские орды уже подступали к Вене, турки утвердились в мадьярской Буде (Будапеште), венгерские земли они превращали в свои «пашалыки» с властью своих сатрапов. В 1566 году Сулейман Великолепный решил сломить отчаянное сопротивление венгров. Накануне похода, по совету своей любимой жены Роксоланы-Хохотуньи, он передушил всех своих детей, рожденных от других жен. Нет нужды приукрашивать эту мифическую султаншу, бывшую для Турции столь же кровожадной, какой была Бона Сфорца для Польши, Екатерина Медичи для Франции, царицы на русском престоле — гречанка Софья

Палеолог и литвинка Е. Глинская. Все они одним миром мазаны!

Максимилиан II дрожал в своем венском дворце, когда узнал, что янычары Сулеймана пошли на штурм крепости Сигетвара, и он перевел дух, когда престарелый Сулейман внезапно умер во время штурма. Турецким султаном стал его сын от Роксоланы-Хохотуньи — Селим II, прозванный «Пьяницей». Трусливый и безнравственный алкоголик, жирный чурбан с красным носом, Селим-Пьяница больше думал о выпивке, чем о войне, и потому заключил с Габсбургами мир. Но теперь, ощутив слабину власти на Босфоре, усилился крымский хан Девлет-Гирей — хитрый и коварный политик, нагло бравший «поминки» (дань) с Руси, но бравший «поминки» и с Польши, обещая королю Сигизмунду II Августу ударить по Москве с юга.

Россию ожидали новые потрясения, память о которых не изгладится в потомстве, сострадательном к мукам своих предков. Иван Грозный, занятый делами в Ливонии, помнил об угрозе с юга, но царь не ожидал, что новый враг объявится на севере, и этот новый враг довершит его позор, обнаружив его военную слабость, его политическое бессилие.

Стокгольм! Здесь царила династия Ваза…

Подобно тому, как в России соперничали двоюродные братья, царь Иван IV и князь Владимир Старицкий, так враждовали в Швеции сводные братья — король Эрик XIV и герцог финляндский Иоганн (или Юхан). Эрик настойчиво добивался брака с английской королевой Елизаветой Тюдор, которую никогда не видел, но засыпал ее любовными посланиями, а брат женился на польской королевне Ягеллонке.

Шведские историки, восхваляя Эрика, признавали с большим огорчением, что «ему часто изменяли нервы». Да, с нервами было не все в порядке, и Эрик еще до вступления на престол славился сумасбродствами. Так, например, застав свою сестру Цецилию в постели графа Остфриландского, он тут же его кастрировал с помощью ножниц, — наверное, нервы не выдержали! Затем, чтобы спасти честь сестры, Эрик повелел выбить золотую медаль с ее профилем, а на реверсе медали Цецилия была изображена библейскою Сусанной в купальне, где ее соблазняют старцы… Наверное, опять нервы расшатались! Здесь уместно напомнить, что Иван Грозный сватался к королеве Елизавете, к королеве Ягеллонке и «хотел почати» от Цецилии…

Скандал в династии Ваза начался, когда Иоганн (Юхан) — вопреки брату — женился на сестре польского короля. Эрик счел это «изменой», и судом риксдага бедный братец был приговорен к лишению головы. Но Иоганн, как герцог финляндский, заперся в крепости Або (ныне город Турку), где и был осажден королевскими войсками. Або взяли штурмом, брат пленил брата вместе с его женою. Затем Эрик упрятал Юхана в темницу Грипсхольского замка, а Ягеллонка, женщина большого мужества, заявила, что не желает разлучаться с любимым мужем, согласная разделить с ним все тяготы тюремного заточения. Вот тогда-то Иван Грозный и начал требовать ее выдачи для своих мстительных вожделений.

Весною 1567 года в Упсале король свершал казни, лично зарезав своего министра Сванте Стурре с его сыновьями; за короткий срок он обрек на смерть 232 человека, и шведы ужаснулись такой жестокости. В каком-то необъяснимом бешенстве король сам убил своего старого учителя Дионисия Бурре, математика и астронома. Сам увлеченный астрологией, Эрик XIV по звездам угадывал, кто его тайный враг — расстановка небесных светил подсказывала ему, кому пора отрубать голову. «Ливонская хроника» сообщала подробности пы-

ток над людьми, «коих обливали горящим вином, сажали в раскаленные тазы, пока те не признавались в никогда не случавшихся вещах, а многих других, которые не сознавались, со связанными руками и ногами безжалостно топили в реках, а также вешали в тюрьмах, а король говорил, будто они повесились сами…»

Так что, в этом жестоком времени лютовал не только наш Иван Грозный! Именно в эту пору в Стокгольме давно томились русские дипломаты Никита Сущев и Третьяк Пешечников, потом их сменили Воронцов и Наумов; послы с нетерпением выжидали выдачи Ягеллонки, чтобы увезти ее в Москву — на потеху царю-батюшке. Эрик XIV соглашался отдать царю жену своего брата, а сам в это время просил политического убежища у английской королевы Елизаветы. Вскоре русских послов навестил «немчин, детинка молод», от имени короля так говоривший:

— Тут много чего накрутилось! Как ваш царь бояр боится, так и наш король своих дворян пугается. Теперь ему ни в чем воли не стало, так он послал меня просить вас, чтобы вы его с собой в Москву увезли, иначе он пропадет…

Новое дело! Видать, нервы совсем расшатались. Затем русских дипломатов визитировали

шведские вельможи, но у них в голове водились здравые мысли:

— У царя вашего своя жена есть, так зачем он чужую жену захотел? Если ему так захотелось с Сигизмундом родниться, так у Сигизмунда другая сестра есть — Ягеллонка, вот пусть к ней и сватается…

Послы отвечали: «Государь наш берет у вашего государя сестру польского короля Катерину для своей царской ч е с т и». Наконец, московских дипломатов принял сам Эрик XIV, сказавший им так: «Мы не дали вам до сих пор ответа, потому что здесь (в Стокгольме) начались дурные дела от дьявола, и кроме того, война с датчанами мешала». Послы вернулись к себе и решили ждать, рассуждая:

— А как на Москву нам без Катеринки приехать? Ведь царь-батюшка всем нам головы поотрывает, а наши семьи вконец разорит… Лучше потерпим, покудова король Ирик или сам не образумится или уж совсем ума не лишится!

После лютых казней Эрик снова просил руки и сердца у английской королевы, заодно посватался и к Марии Стюарт, занимавшей престол в Шотландии, а в июле 1568 года он женился на Катерине, дочери простого кнехта-солдата, и даже

короновал ее — назло братьям своим и вельможам. Осенью снова вызвал послов и сообщил, что против него — заговор.

— Когда же он начался? — спросили дипломаты.

— С тех пор, как вы, дураки, здесь появились…

Восставшие держали Стокгольм в осаде несколько недель. С высоты «Башни трех корон» Эрик видел, как столичные бюргеры ломают ворота, чтобы сдать город восставшим, и тогда король грустно заметил:

— Жаль, что мало отрубил я голов…

Он был свергнут с престола, королем Швеции стал его брат Юхан III, а королевой стала его жена Екатерина Ягеллонка.

Один брат сказал другому брату:

— Это ты меня заточил? Ты мою супругу хотел отдать на растерзание московскому извергу? Так теперь будешь сидеть до конца своих дней в темнице, в какой меня ты мучил…

К русским дипломатам ворвались кнехты и стали избивать их. Избитых до полусмерти раздели догола и нагишом выгнали на улицы, а потом целый год держали их в тюрьме. Конечно, вернувшись домой, они сложили головы на плахе.

Конец же истории был таков: новый король

воспылал яростной злобой к царю за то, что тот желал осквернить его жену, и потому Швеция, дружественная России, сразу сделалась ей враждебной, склоняясь к союзу с Литвой и Польшей, чтобы совместно воевать против московитов. Едва заняв престол, Юхан III сразу же заявил, что русский царь — его личный враг:

— Клянусь перед богом, что я ему отомщу! Ревель уже наш, а скоро станет шведской и Нарва и даже Новгород — Иван Грозный уже привык отбирать жен у своих бояр, а потом, утолив свою похоть, топил их в прорубях; наверное, ему казалось, что царям даже в Европе все дозволено.

Политика — родная сестра торговли, но со времен Ричарда Ченслера английская королева слала в Московию «торговых мужиков», хотя Иван Грозный хотел бы видеть от нее дипломатов. Верные себе, англичане искали в России прибылей, а не союзов с нею, хотя царь предоставил им такие льготы, каких не имели купцы других стран. Москва хотела не только продать, но и купить, а Европа, переполненная товарами, не была слишком щедрой. Польский король Сигизмунд писал Елизавете, чтобы не искала коммерческих выгод в России, ибо есть один способ расправиться с царем — задушить его в полной

изоляции. «Вашему величеству, — писал он, — не может быть неизвестно, как жесток враг, как он тиранствует над своими подданными, и как они раболепны перед ним». Елизавета отвечала Сигизмунду в том духе, что, кроме нескольких паршивых рыцарских панцирей, она ничего не дала царю из военной техники, но торговая компания англичан при этом быстро осваивала русский рынок, «торговые мужики» проникали уже в Бухару и в Персию, подбираясь к Индии…

«Россия много хотела иметь от Европы, но что она сама могла дать Европе? Увы, только сырье, и ничего больше. Но это сырье имело громадное значение. Простой пеньковый канат, как и парус, тоже двигал цивилизацию, — так вот, в этих канатах, державших паруса великих мореплавателей, была перекручена русская пенька. Миллионы верующих католиков и протестантов ежедневно возжигали в храмах тысячи свечей, — хочу спросить: много бы они там намолились, если бы Московия не поставляла Европе пуды и тонны чистого яркого воска, из которого лепили свечи? Наконец, вся Европа красовалась русскими мехами, короли и бюргеры обшивались русскими соболями и горностаями (тогда как сами русские чаще прятали меха, делая из них лишь подкладку

для своих одежд). Через Нарву и Архангельск уплывали для обихода европейцев русские товары — рукавицы и плети, ветчина и масло, сапоги из юфти и сыромятные кожи, шкуры волков и медведиц, хмель и треска, даже сани, а сама Русь на вес золота ценила любой моток медной проволоки. Россия не имела своих металлов, и — смешно сказать — вывозила из Европы чужие монеты, чтобы, переплавив их, начеканить свои. Это для нас, читатель, кастрюля ничего не значит, а во времена Ивана Грозного купцы за один котел на рынках дрались до крови…

Иван IV тоже переписывался с английской Елизаветой I, он просил у нее любви и дружбы, а заодно и пушек для своей артиллерии. Вот что удивительно: в переписке с князем Андреем Курбским царь был как бы на равных по степени литературного таланта, зато вот в письмах к Елизавете царь выглядел наивным простаком, которого Елизавета попросту дурачила. Царя, кажется, очень смущало то обстоятельство, что королева Англии засиделась «в девках», и он, чересчур любвеобильный, учитывал ее как свою будущую невесту — на очень шатких весах международной политики. Но об этом — позже…

Как раз в ту пору, когда в Швеции вызревал за-

говор против Эрика XIV, на Руси тоже творились странные дела; о них можно, скорее, догадываться, ибо там, где нет фактов, а лишь версии, мы крадемся во мраке прошлого на ощупь, как слепцы без поводырей. Не знаю, верить тому или нет, но вполне похоже на правду, что летом 1567 года король Сигизмунд разослал знатным боярам подметные письма, соблазняя их участью князя Курбского, чтобы ехали на его королевскую службу, а он не откажет им в должном «кормлении». Для Ивана Грозного, всюду видевшего «измену», этого было достаточно, чтобы подозревать бояр в новом «заговоре». В августе русские послы, Умный-Колычев и Григорий Нагой, вернулись из Гродно, где они беседовали с Сигизмундом, и доложили царю, что король уступать Ливонию не согласен, а их, послов, тамошние паны бесчестили, кормили худо…

А был ли заговор? Если был, то историкам рисуется лишь умозрительная его схема: недовольных возглавил Иван Петрович Челяднин-Федоров, и, конечно же, бояре, свергнув царя, посадили бы на опустевший престол добросердечного князя Владимира Старицкого. Но заговорщиков и выдал царю сам князь Старицкий… Все это предположительно, все строится на одних намеках. Скорее,

вся эта боярская оппозиция — плод больного воображения царя, который попросту выдумал вины людей, чтобы избавиться от них.

Осенью царь задумал большой поход в Ливонию; его сопровождал и князь Старицкий, уже запуганный царем. В пути Иван Грозный, настроенный мрачно, указывал пути войску: брать Розиттен (Режицу, ныне станция Резекне).

Но 12 ноября что-то вдруг изменилось в планах царя; в Орше был собран военный совет, решивший, избегая сражений, вести лишь оборонительную войну. Вот именно в этот день Старицкий, якобы, и вручил царю список заговорщиков. Конечно, царь спросил — кто список делал, и, возможно, князь Старицкий, ответил, желая отвести беду от себя… Он ответил:

— Старался твой конюший Иван Петров Челяднин-Федоров, что ранее был наместником в Дерпте, откуда и утекнул князь Курбский…

Сочетание имен Федорова и Курбского породило в царе животный страх; трусливо покинув армию, он поскакал обратно в Москву. Его окружали одни опричники, и на скаку лошадей возле седел мотались отрубленные головы собак, топорщились грязные метлы. Царь мчался день и ночь, объятый ужасом, повелев распустить всю

армию по домам:

— Иначе что делать им на рубежах, — говорил царь, ежели весь «наряд» (артиллерия) застрял в грязи подо Псковом…

Прибыв в Москву, царь сразу велел казнить дьяка Дубровского, который, провозя пушки, не мог справиться с дорожной грязью, в которой завязла артиллерия: «Казарина Дубровского да двух сыновей его, да 10 человек его, которые приходили на пособь» (вытаскивать пушки из грязи) тут же казнили. Но царя одолевали более важные заботы. Он имел тайную беседу с «торговым мужиком» Антонием Дженкинсоном, допытываясь у него, согласна ли королева Елизавета дать ему политическое убежище — царь желал бежать в Англию с женой и детьми.

— Слух дошел до нас, что королева ваша сама стеснена соперницей Марией Стюартовой, так пусть душевно сострадает моим горестям, а я зову ее к себе, ежели от Марии бежать станет…

Какой жалкий и ничтожный человек — царь Иван Грозный!

Ставя в вину князю Курбскому бегство в Литву, он, царь, не стыдился замышлять свое бегство в Англию.

Конечно, Елизавета не собиралась бежать от

Марии Стюарт, но царю убежище в Англии она обещала, а ее торговый агент Дженкинсон, не будь дураком, тут же выговорил у царя для английских купцов новые льготы.

— Моя благодарная королева, — заверил царя Дженкинсон, — никогда не откажет в приюте столь великому государю…

Вологда спешно отстраивалась, туда перевозили казну и там же строились корабли, чтобы плыть на них в далекую Англию. Я думаю: пусть бы он и уплыл ко всем чертям…

17
НЕЛЬЗЯ МОЛЧАТЬ

Начать придется издалека. В 1521 году Федя Колычев был еще мальчиком, когда татары разграбили Москву и увели в полон на продажу 800000 русских, навсегда потерянных для своей родины. По свидетельству иностранцев, бывших тогда в Крыму, один еврей-меняла, живший в Перекопе, даже утомился видеть нескончаемый поток рабов, день за днем вливавшийся во владения Мегмет-Гирея, и, наконец, воскликнул:

— Да остались ли еще люди в той несчастной русской стране, откуда татары нагнали столько народу?..

Великий князь Василий (отец Ивана Грозного) постыдно бежал из Москвы и обещался с тех пор платить татарам дань. Федя Колычев воспитывался родичами патриотом, скорбящим за несчастия своей родины, он смолоду невзлюбил царскую власть, которая издревле пытала и казнила множество Колычевых, имевших поместье в новогородских землях.

Неизвестно, что подвигло юного Федора бро-

сить службу при дворе. Он разом порвал со своей родней и, скрывая свое знатное происхождение, оказался в Кижах, где нанялся в пастухи к богатому мужику. Был 1537 год, когда к Соловецким островам прибило жалкий плотик, с него сошел босой и оборванный Колычев, назвавшись Филиппом, он просил принять его в послушники. Истомленный, с. мозолистыми руками, он напоминал обедневшего крестьянина: «Ни мешца имяеше, ни двою ризу, ни при поясе меди, ни иного чесого иже на потребу».

Соловецкая обитель находилась тогда «на краю света», и жизнь там была очень сурова. Если на Руси множество монастырей жило богатыми вкладами от царей и бояр, а монахи бездельничали, упивались вином и даже девок блудных в кельях держали, то на Соловках царила очень суровая жизнь. Соловецкие монахи подаяний не ждали, каждый кусок рыбы добывали трудом праведным, оттого-то сюда шли в послушники только рыбаки-поморы, угнетенные нуждою крестьяне, здесь укрывались беглые и даже разбойники. Но зато здесь никогда не ведали сытой праздности, не знали и псевдонаучного фарисейства, человека оценивали по труду его рук и по тому разуму, какой имел от природы, а не от лу-

кавого. Богомольцев Соловки в ту пору не знали, ибо кто же рискнет тащиться в такую даль, через леса непролазные, через топи болотные, а потом плыть бурным морем?..

Творчество — вот, пожалуй, то самое главное, чему отдавался русский человек, когда не угнетали ни цари, ни власть царской бюрократии, способной удушить все живое. «Во льдах северной России, — писал историк, — проявлялось то многостороннее творчество, которое, благодаря мертвящему давлению московской централизации, исчезло на всем пространстве нашего государства… монах-труженик выказал тот практический гений, которого не доставало людям, стоящим у кормила правления». До чего же мало мы знаем о наших предках! Филипп изобретал механизмы, схожие с автоматами.

На Соловках появилась странная «телега», которая сама на себя взваливала груз, сама отвозила груз и сваливала его в нужном месте. Работало особое «решето», которое «само сеет и насыпает, отруби и муку разводит розно (отделяет их) да и крупу само ж сеет и насыпает», отделяя зерно от высевок. Правы историки, пишущие: реформы Петра I понадобились для того, чтобы избавить Русь от насилия центральной бюрократии, а про-

стой русский человек не нуждался в понукании, ибо он без реформ всегда стремился к новому, мыслил самостоятельно.

Филиппа влекло в ризницу игумена, где хранилась библиотека. Соловки, удаленные от России, были тогда крохотным царством учености, здесь укрывались книжные и летописные сокровища в период татаро-монгольского погрома, здесь прятали памятники русской письменности от войн и пожаров. Престарелый игумен Алексей Юренев заметил в Филиппе большую грамотность, не свойственную пастуху из Кижей, он вынудил его сделать признание:

— Сын я боярский. Колычевы сродни бывали великим князьям московским, но не тешит меня суета праздная, опротивел мне свет, где не стало правды, а только кровь и насилие…

Соль тогда для России была столь же важна, как и порох; Филипп днями утруждался на соляных варницах, выходил в море ловить рыбу, испекал хлеба для братии, а ночами читал, вникая в старые были старой Руси. В 1548 году умирающий Алексей Юренев со словами «аз в путь отец моих гряду» благословил Филиппа на свое место. Филипп не хотел возвышения над другими, но монахи уговаривали его стать игуменом Соло-

вецкого монастыря. Уроки прежней пастушеской жизни в батрачестве не прошли для Филиппа даром, и первая его грамота ограничивала произвол властей, обиравших крестьян русского севера безжалостными поборами… Так он начал!

Я невольно вспоминаю свою юность, проведенную на Соловках. Мы, юнги, еще часто встречали в лесах добродушных оленей, которых Филипп вывез из Арктики, акклиматизировав их для жизни в новых условиях острова; я помню массивные «коровьи дворы», выстроенные при Филиппе для зимовки скота; мы, юнги, с песнями маршировали в лесах вдоль прекрасных и прочных шоссе, каких не было даже в нашей стране; наконец, Филипп соединил каналами 52 озера, и наши шлюпки, минуя шлюзы, свободно проходили через весь остров. Наконец, мне известно, что стараниями Филиппа на Соловках работал кирпичный завод, а зерно стали молоть водяные «Филипповы мельницы». Ничего теперь этого не осталось. В нашей печати лет 15 назад сообщалось, что последний олень был застрелен ради мяса, а дороги разбиты вдрызг пьяными трактористами, не ведающими, где право, где лево. Кремль, этот ценный памятник древнерусского зодчества, разваливается гораздо скорее,

нежели его успевают реставрировать добровольцы-студенты.

Наверное, кому-то было надобно создать из жемчужины русского севера сначала тюрьму и концлагерь для уничтожения «врагов народа», а потом сделать все, чтобы наше прошлое было разрушено, как разрушено и многое на Руси.

Кстати, я учился на Соловках в здании тюрьмы, которая до революции была гостиницей для богомольцев.

Как тут не воскликнуть: о, времена! о, нравы!

Как не хотел Филипп быть игуменом соловецким, так же не хотел он быть и митрополитом московским. Как и все выходцы из вольного города Великого Новгорода, он с детства был приучен ожидать от царей только мерзости, и ничего путного. Иван Грозный, порожденный от «прескверных семян», когда отец его почал от Елены Глинской с помощью волхвов и кудесников, имел безумного брата Юрия, а сын его Федор тоже был ненормален, как и Дон-Карлос испанский. Филипп правомерно считал Рюриковичей издыхающими тиранами, которые в канун гибели спешат насытиться человеческой кровью. По дороге в Москву Филипп невольно дивился, как такие люди, вроде Адашева и Висковатова,

сами разумные, научились управлять безумным царем, и он их слушался. Наверное, они сумели сыскать отмычки к его душе, какие находит и врач для воздействия на душевнобольного… Рассуждал он в дороге:

— Не народ видно, а бояр, кои к царю ластятся, словно кошки, парного молока хотящие. Сами себя отдали на поругание, жен и дев на осквернение, а все восхваляют того, кто зачат был в мерзости пакостной от пособия колдовского…

После отставки Макария и отчуждения Германа царь с ненормальной настырностью желал видеть Филиппа митрополитом. Для уговоров непокорного игумена он даже унизился, прислав на Соловки делегацию бояр и епископов, которые слезно умоляли Филиппа ехать в Москву:

— Един ты остался, надежда наша! — говорили ему. — Кто, кроме тебя, отведет от нас гнев царский, кто станет печаловаться за землю Русскую? Может, сам бог указывает на тебя, чтобы не покинул нас во тьме кромешной, во тьме опричниной.

Филиппа убедил их крайний довод: «Коли митрополию ты отвергнешь, царь в свирепство войдет, и всех нас, к тебе ездивших, с детьми и женами в опричнину выдаст…» Вот Филипп и

поехал в Москву, чтобы принять высокий сан, почти равнявший его, владыку духовного, с царем московским.

Встретились! Иван был доброжелателен:

— Стоустая молва по всей святой Руси о тебе идет, будто жизни ты праведной, а в делах разумен… Так скажи, святой муж, в утешение мне, страдальцу, слово божие.

— Скажу! — отвечал Филипп. — Великое бремя на тебе, а вручил ты его шаткой ладье без ветрил и без весел. Я пустыню свою Соловецкую покинул, оставил, дабы усмирить совесть твою заблудшую. Оставь опричнину сатанинскую, хватит собачьи головы на себя вязать да метлами народу грозить.

— Молчи, отче! — закричал царь.

— Если все молчат, так един я говорить стану, — не покорился Филипп. — Почто разделил государство на две страны, на Земщину и Опричнину, ежели даже в святом писании нам возвещено: «Аще царство свое разделиши, тое царство и запустеет».

Иван Грозный посох железный отбросил и зарыдал:

— Мои же люди хотят мя поглотити.

— Оставь дурь эту, — сказал Филипп. — Никто

не замышляет на тя. Показывай путь народу делами добрыми, а не вводи людей за собой в геенну огненну. Соединяй землю русскую воедино, и велик станешь, а коли разъединишь ее — сам погибнешь…

Это все, что известно мне о разговоре меж ними. Но, очевидно, Филипп сказал царю что-то еще такое, что царь смирил гордыню, внешне он даже покорствовал митрополиту. Возможно, он бы и разодрал Филиппа на сто кусков раскаленными клещами, но, суеверный, боялся оскорбить высокий сан митрополита — после Макария да после Германа… Что скажут в народе?

— Не укройся от меня, — предупредил Филипп царя. — Ежели не станешь слушать речей моих в царских покоях, я такие же речи скажу в храме при всем народе…

Он принял сан митрополита как раз в то время, когда в Москве Земский собор решал — быть войне или быть замирению, и царь — вот чудо! — на время притих, затаился. Почти полгода Москва не ведала казней, и народ благословлял Филиппа:

— Солнышко наше! Усмирил зверя лютого… Кромешники-то, и те утихли. Едут да плюются на нас. а голов не секут…

После этого был осенний поход в Ливонию, поспешное бегство царя из Орши, тайные свидания с Джекинсоном, и за это время Иван Грозный освободился от упреков Филиппа Колычева, он снова стал тем, кем всегда был.

Строгий подвижник Филипп был готов завершить свою жизнь подвигом. Недаром же его прославили в своих картинах лучшие живописцы России: Неврев, Репин, Пукирев, Симов, Шаховской и прочие… Все они хорошо знали историю своей родины, и все они глубоко почитали Филиппа.

Опять возвращаемся к этим подметным письмам, в которых король Сигизмунд предлагал боярам покинуть царя и бежать от его гнева в свои польские земли. Что-то очень подозрительное было в этих посланиях, адресованных важным боярам — Челяднину-Федорову, князьям Вельскому, Воротынскому и Мстиславскому. Не была ли это явная провокация Сигизмунда, который, хорошо извещенный о подозрительном нраве царя, поименно указывал царю, кого из ближних бояр ему следовало уничтожить в первую очередь. Истратив склянку чернил и стопку бумаг, король мог легко избавиться от умнейших и деловых противников, сам оставаясь

в стороне… Наконец, провокацию можно повернуть и обратной стороной. Не сам ли уж царь подослал эти письма от имени короля, чтобы потом иметь предлог для казни бояр? Историк Уманец, кажется, подтвердил эти мои догадки: «С уверенностью можно сказать, — писал он, — что в настоящем случае никаких подсылок (писем) со стороны Сигизмунда не было, но Ивану надобен был предлог для того, чтобы, отложив в сторону скучную добродетель, снова начать кровопролитие…»

И оно началось! Сразу же, как только царь, покинув армию, опрометью вернулся в Москву с таким горячим нетерпением, будто спешил на свадьбу. Скажем так: что там этот жалкий испанский король Филипп II с копотью и смрадом его аутодафе? Он выглядит жалким плюгавым бюрократом по сравнению с русским царем, который в деле истребления людей был не просто убийцей, а почти вдохновенным артистом с фантазией героев Шекспира…

Челяднин-Федоров, уже старик, чина лишенный, заранее весь ограбленный, был зван во дворец, где Иван Грозный встретил его очень ласково, как лучшего друга. Слугам своим велел он одеть гостя по-царски, и те облачили коню-

шего-старика в царские бармы, надели на голову его шапку Мономаха, дали несчастному в руки царский скипетр.

— Ты возомнил, что сладко царем быть, — сказал Иван Грозный, — так сядь и посиди на моем месте…

Не смея царю перечить, Челяднин-Федоров уселся на троне, и тогда Иван Грозный, обнажив перед ним голову, встал на колени, отпустив ему нижайший поклон до земли. Сказал так:

— Теперь возымел ты все, чего искал и к чему стремилась душа твоя, хотел ты занять мое место, вот и стал великим князем московским, так радуйся и наслаждайся своим владычеством.

Старик сидел на престоле — ни жив, ни мертв. Молчал.

— Впрочем, — досказал царь, — в моей власти садить тебя на престоле, но в моей власти и убрать с престола тебя…

«И, схватив нож, — писал Шлихтинг, — он тотчас несколько раз вонзил ему в грудь и заставлял всех воинов, которые тогда были, пронзать его ножами, так что грудные кости и прочие внутренности выпали из него на глазах тирана». После чего убитого за ноги выволокли на Красную площадь и там бросили — чтобы народ ужаснулся,

чтобы собаки бродячие сыты были…

— Гойда, гойда! — веселились опричники, а царь, тоже радостный, послал их в дом Федорова, чтобы замучили жену его и всех, кто живет в доме казненного…

Среди главных приспешников был князь Михаил Темрюкович, брат царицы Марии Темрюковны, которого Иван Грозный высоко почитал за его жестокосердие. Это он вывел семью Казарина-Дубровского на двор, отрубил голову ему и жене его с сыновьями, но дочь Казарина, юная девушка, убежала и спряталась. Долго искали ее по всей Москве, а когда поймали, Михаил Темрюкович разрубил ее пополам секирою. Страшный смрад пронизывал покои кремлевского дворца — это на громадной сковороде живьем жарили князя Темкина-Ростовского. Но что там Темрюкович, что там царь? Вы бы посмотрели на царевича Ивана, каков молодец растет, как он старается угодить батюшке своему: «Когда он проходит мимо трупов убитых или снятых с шеи голов, то являет дух, жаждущий еще больше кары, он скрежещет зубами наподобие собаки, ругается над мертвыми, поносит их, протыкает и бьет их колкою, укоряя мертвецов за неверность в отношении к его отцу…» Так что, читатель, Ивану

Грозному росла достойная смена!

— Зверь! — раздался вдруг голос Филиппа, который в полном облачении митрополита явился в палатах царя. — Доколе же ты невинных людей будешь умучивать? Неужто меры не стало ярости твоей ненасытной? На что же тогда законы писаны, ежели правды не стало? Поимей жалость хотя бы к невинным душенькам — ко вдовам плачущим да к сиротам…

Царь, опираясь на посох, молчал, дыша тяжко, с гневом; но, гнев смирив, отвечал кротко:

— Тебе ли, чернецу, судить о делах моих царских? Молчи, отче праведный, молю тебя… Христом-богом молю — молчи.

— Лютовали предки твои, на костях Русь выросла и сама на костях хлеб сажала, — отвечал Филипп, — но таких злодейств еще не ведала земля Русская…

От подобных увещеваний царь не усмирил лютости, но слушать Филиппа не хотел, и даже сам скрылся от него в новом дворце у Расположенных ворот, где его окружали одни опричники, где не угасало пьяное веселье, где потешали его шутками-прибаутками Басманов с сыном Федором да князь Афанасий Вяземский. А вскоре явился, словно из преисподни, и тихо присел к столу

царскому звероподобный и ухмыльчивый, себе на уме, Малюта Скуратов — мужик здоровый, дышащий шумно, как лошадь, с громадными, словно клешни, ручищами. Но тут до царя дошло, что Филипп, лишенный права видеть царя, начал обличать его при всем честном народе — в храмах божиих…

Малюта Скуратов скромно поклонился царю:

— Великий государь, помянем мудрость народную: коли не по лошадям хлещут, так бьют по оглоблям… Решай сам!

Чтобы запугать Филиппа митрополита, опричники арестовали его духовный клир, священников, связанных, таскали по городу на веревках, как скотину, и все время били железными дубинами до тех пор, пока не умерли все от побоев. Москва в эти дни пропиталась зловонием, множество разодранных трупов разлагались всюду, никем не убранные, жители старались не выходить из домов своих, по Москве гарцевали на лошадях одни опричники да бегали разжиревшие собаки и громадные свиньи, обжиравшие мертвецов… Филипп удалился в монастырь, но сана митрополичьего с себя не сложил:

— Ежели не я скажу правду, так кто скажет?

Настал 1568 год. Царь по-прежнему уповал на

доброе сердце королевы Елизаветы, чтобы бежать в Англию со своей Темрюковной и казною, а пока не получил ответа от королевы, он утешал себя зрелищами казней. В тех случаях, когда ему уже не хватало фантазии, его выручал Малюта Скуратов, делавший в опричнине очень скорую карьеру. Во времена погрома Федоровских вотчин он «ручным усечением» избавил от жизни 39 слуг Челяднина-Федорова. А всех других людишек запер в амбаре, подсыпав в подвал пороху. Раздался страшный взрыв, и ошметки человеческих тел долго кувыркались в воздухе, долго шлепались наземь, вызвав небывалый восторг в самом царе и его сыне Иване:

— Ай да Малюта! — кричали. — Вот позабавил…

21 марта в Успенском соборе Филипп увидел, что храм наполняется опричниками, средь них был и сам царь, просивший благословения. Филипп сделал вид, что углублен в молитву. Алексей Басманов подтолкнул сына Федьку, и тот сказал:

— Владыка святый! Великий и благочестивый государь всея Руси явился за твоим благословением… Глянь сам!

— Благочестивый? — сказал Филипп. — Но с тех пор, как солнце появилось в небесах, никогда еще

за алтарем церковным не проливалось столько слез и крови народных, как от благочестия Нерона московского.

Иван Грозный, заострившись носом, и без того длинным, с такой силищей ударил жезлом о каменные плиты собора, что он высек из камня снопы искр и даже сам долго звенел.

— Филипп! Молчи, заклинаю тебя… молчи!

— Нет, — отвечал Филипп, — твои угрозы не устрашат меня, ибо лучше смерть претерпеть лютую, нежели пред тобою смириться… Я тебя не боюсь. Уходи прочь…

Закончив службу, Филипп опять-таки сана не снял, но жить стал в Старо-Никольском монастыре. Иван Грозный уже разлакомился в рабской покорности бояр, и сопротивление митрополита было для него — словно стенка, на которую он напоролся со всего разбега. Чтобы досадить Филиппу, он придумал такое, страшнее чего и не придумать нормальному человеку. Заранее были составлены списки всех московских красавиц, жен боярских, купеческих, посадских, чиновных и прочих. Операцию проводили Вяземский, Скуратов, Басмановы и Васька Грязной, новый любимец царя. Внезапно они являлись в семейные дома, хватали жен, кидали их в телеги,

и в одну ночь лошади умчали из Москвы сразу четыреста лучших красавиц…

— Забавушка, — ласково сказал царь своему сыну Ивану.

— Побалуемся, — с готовностью отвечал сынок своему папеньке.

До чего же любил царь своего Иванушку! Этот молодец-удалец наверняка повершит батюшку — не то, что второй сынок Федор, который в коленках слаб, сам трясется, голову клонит и бормочет что-то божественное… Сущий дурак, весь в своего дядю Юрия, который скончался в полном безумии.

18
ЛУЧШЕ МОЛЧАТЬ

Уж если зашла речь о большой любви Ивана Грозного к его сыну Ивану, так пришло время напомнить о страшной ненависти испанского короля Филиппа II к его сыну Дон-Карлосу.

Отгородясь от мира высокой каменной стеной, иезуиты мадридской конгрегации знали многое, о чем тогда не догадывались даже испанцы. Куэвас однажды проводил до кельи резидента неизвестного монаха, которого Суарец принял с большим почетом. Куэвасу удалось слышать слова странного гостя:

— Король не мог поступить иначе. Но это не было наказанием отцовским. Королю ничего не оставалось, как пожертвовать богу плотью от собственной плоти, ибо служение церкви он предпочел всем мирским помыслам.

— Дон-Карлос уклонился в ересь? — спросил Суарец тихо.

— Тут много разных причин, а главная, что он в безумии своем замышлял бежать в Нидерланды, где еретики уже бросали в костры иконы,

отказываясь от кротких увещаний священной инквизиции. Герцог Альба уже в Брюсселе, — рассказывал гость, — ему дозволено королем зарывать в землю живых женщин, а ветви деревьев уже прогнулись от тяжести, сплошь увешанные гроздями повешенных мужчин…

Куэвас, будучи пажем при дворе, не раз видел герцога Альбу, высокого жилистого старика с длинной седой бородой, и он уже слышал, что герцог заседает в «Трибунале убийств», дабы карать еретиков. Проводив гостя, он спросил привратника миссии — кто этот человек, что навещал Суареца?

— Это был Диего Эспиноза, великий инквизитор в Испании и ближайший друг испанского короля…

В этот день за общей трапезой Суарец сообщил, что здоровье Дон-Карлоса ухудшилось, он с небывалой алчностью поглощает невероятное количество пищи, и ему все время ставят слабительные клизмы. Иезуитская братия восприняла эту новость спокойно, понимая, что Дон-Карлоса уже нет в живых. Все последнее время до конгрегации доходили самые невероятные слухи (и нам, читатель, предстоит им довериться, ибо все документы о Дон-Карлосе были уничтожены его

отцом). Екатерина Медичи, сосватав Елизавету за короля Филиппа II, вознамерилась выдать за его сумасшедшего сына инфанту Маргариту Валуа, и с тех пор Дон-Карлос начал буйствовать, требуя невесту. Изрезав кожу своих сапог, он заставил сапожника, сшившего их, съесть сапоги вместе с подошвами. Встретив девочек, он раздевал их и начинал сечь без устали, наслаждаясь их страданиями; наконец, однажды он забрался в конюшни отца, где жестоко изранил кинжалом всех лошадей…

Восстание в Нидерландах, потрясшее всю империю Габсбургов, отразилось в голове идиота желанием бежать из пределов Испании, чтобы стать королем фламандцев. В ночь на 18 января 1568 года длинный коридор мрачного Эскуриала осветился факелами: сам Филипп II прошел в комнату сына, и двери отворились бесшумно, чтобы застать сына врасплох. Дон-Карлос лежал в постели, стражники сразу отобрали оружие, с которым инфант не расставался. При виде отца Дон-Карлос закричал:

— Я знаю, что пришел мой последний час!

— Нет, — ответил ему Филипп II, — никто не знает своего последнего часа, как не знаешь его и ты, мой возлюбленный сын. Я пришел, чтобы

облегчить твои страдания, а потому ты прими все, что случится, как благословение свыше…

Тогда же окна были наглухо заколочены досками, и в полном мраке, загасив факелы, король неслышно удалился. Больше никто и никогда не видел Дон-Карлоса. Диего Эспиноза был, кажется, последним, кто его видел. Но великому инквизитору не пришлось утешать отца, ибо Филипп II никаких угрызений совести не испытывал. При этом осталось тайной, что стало с самим Дон-Карлосом: был ли он задушен, отравлен ли клизмою с ядом или захлебнулся в ванне с горячей водой…

Жалеть об этом выродке, достойном наследнике Хуаны Безумной, не приходится. Но зато смерть Дон-Карлоса невольно стала образцовым примером для будущих монархов — для Ивана Грозного, убившего сына посохом, для императора Петра I, погубившего царевича Алексея, и для прусского короля, который едва не повесил своего сына — будущего короля Фридриха Великого.

В год гибели Дон-Карлоса, желая избавиться от беременности, умерла королева Елизавета Валуа, и Филипп женился в четвертый раз на молодой, краснощекой венке, — брак объяснялся просто: Габсбурги, испанские и австрийские, нарочно роднились, чтобы совместно утопить в крови вос-

стание Нидерландов. По ночам Эскуриал снова вздрагивал от воплей дежурных алебардистов:

— Король направился к королеве!

Этикет даже в этом случае оставался неукоснителен. Шагая в спальню королевы, Филипп II держал в одной руке меч, а в другой нес рыцарский щит; камергер шел впереди с факелом, освещая дорогу, и тащил громадную банку («не для того, чтобы из нее пить, а совсем для иного употребления»).

Я устал, и далее пусть за меня пишет сам Куэвас…

…Наша миссия стала пустеть: члены братии один за другим незаметно покидали ее, отяжеленные кошельками с золотом, они спешили в Нидерландские провинции, чтобы крестом и кострами довершить то, что не удалось сделать мечом герцогу Альбе. В моей судьбе тоже возникли перемены, которых я с нетерпением ожидал. Пройдя строгий искус в первоначальных ступенях индефферентоса и новициата (выжидающего и испытуемого), я готовился познать мудрость третьей ступени — схоластику, и был уже предупрежден секретарем миссии, что мне предстоит покинуть Испанию:

— Отныне ты не вправе сам решать свою судь-

бу, и, если Орден не пожелает иметь тебя, ты получишь «синий конверт», в котором найдешь чистый лист бумаги, после чего можешь убираться куда хочешь…

Я знал, что «синий конверт» получают офицеры в армии, которые без объяснений причин увольняются в отставку, и на пенсию от своих сюзеренов уже не могут рассчитывать. Впрочем, за время испытаний я уже смирился со своей судьбой пса господня, а слепое повиновение начальству Ордена никак не пугало меня, ибо мне казалось, что лучше пусть меня переворачивают, словно труп, нежели мне самому переворачивать трупы. Вскоре нашу миссию — перед отъездом в Рим — посетил сам великолепный «генерал» ордена — Франческо Борджиа, и я был умилен его вниманием, с каким он удостоил меня беседы. Весьма доверительно, доходчиво и четко, «генерал» указал мне места будущих сражений за истинную веру, и его слова настроили меня воинственно, как солдата ландскнехта перед решающим штурмом. Вся северная Германия, включая и Нидерланды, Чехия и Моравия, Швеция и даже Франция уже отравлены протестантским ядом, который струился через церковные врата в католические храмы, а лютеранство покорило умы

горожан Ливонии и Полонии.

— Наконец, существует Московия — эта загадка для Рима, далекая от распрей Европы, но давно погрязшая в схизме отжившего наследия Византии, на развалинах которой сейчас пируют султанские янычары… Вступая в этот греховный мир, — поучал меня «генерал» Ордена, — ты обязан помнить, что всегда будешь прав, зато другие всегда останутся виноваты. Тебя беспокоит страх? Или ты дорожишь своей жизнью? — засмеялся Борджиа. — Так будь умнее. Сейчас, когда ты слышишь эти слова от меня, тысячи падают под ударами мечей, теряя головы, а другие тысячи покорно ждут своей очереди, чтобы заполнить могилы. Dixi, — завершил беседу Франческо Борджиа, — и пусть земные блага никогда не станут целью твоих желаний, а лишь средством для достижения цели твоего праведного пути…

Я, конечно, не забыл тот свирепый, унизительный голод, который мучил меня смолоду, и теперь, пес господень, я дорожил сочной костью, из которой с наслаждением высасывал жирные мозги. В уединении своей конгрегации мы, конечно, были извещены, что Испания разорена поборами, что сонмище нищих уже заполнило все ее города, воруя и грабя на каждом перекрест-

ке. Но меня это уже не касалось. Нас кормили такими яствами, каких я не пробовал даже с королевского стола. Совсем недавно (в 1565 году) из Америки доставили в Испанию первые плоды картофеля, чтобы угостить молодую королеву, и не знаю уж как, но мы тоже вкусили от этого плода, который вскоре папа римский запретил есть, назвав их «дьявольскими яблоками». Наши трапезы проходили шумно и даже весело. Всегда в избытке было вино, но я, чистокровный каталонец, предпочитал пить чистую воду. Мы потешались аппетитом собрата из Салерно, который в один присест мог слопать десять жирных каплунов и проглотить, как фасолины, сразу четыреста яиц. В шуме пирующих через наш стол летали жирные курицы, шлепались жирные окорока и разбивались сырые яйца о потные лбы уснувших пьяниц. Не могу сказать, чтобы мы были очень скромными, и за трапезой велись иногда разговоры, от которых я даже краснел:

— Скажи, Петруччио, как она была одета?

— Как всегда. На шее у нес красовалось дивное ожерелье, а на руках и ногах звенели драгоценные браслеты.

— А какое же было у нее платье?

— Днем она была озарена солнечными лучами,

а ночью представала передо мною, вся в голубом лунном сиянии.

— Неужели не прикрылась даже молитвенником?

— Ты догадлив, брат мой во Христе…

Здесь уместно заметить, что «общество Христа» отличалось от других религиозных монашеских орденов. Мы имели право на грех — ради высших идеалов служения церкви. Все нарушения морали считались законной «диспенсацией» (уступкой Рима), любой из нас имел право отступать от моральных норм, обязательных для каждого христианина. Сначала меня это удивляло, особенно то, что мы совсем не придерживаемся постов, регламент которых строго проверялся церковью, но в ответ на мое недоумение Суарец только засмеялся:

— Посты не для нас — посты для других! Даже не заглядывая в церковный календарь, мы сами вольны избирать для себя сроки и продолжительность постов. Пусть нарушены уставы благочиния церкви, зато мы сохраняем здоровье, столь нужное для спасения церкви. «Общество Иисуса» не нуждается в хилых аскетах, которые питаются акридами и сороконожками в своих пещерах… Нет, мы не монахи Рима — мы бравые

солдаты самого римского папы, готовые штурмовать еретические твердыни!

Секретарь миссии предупредил меня:

— Ты уже стоишь на одной ноге, а другая поднята, чтобы продолжать путь. Скоро тебе предстоит покинуть Испанию, и обратно ты никогда не вернешься. Дабы скрасить твою разлуку с родиной, наша миссия позволяет тебе навестить Зумарага…

Вблизи нищенского городка Зумарага свято хранилась обитель самого Иниго Лойолы. Вдали от мирской суеты я увидел безмолвную колыбель своего Ордена, снаружи напоминавшую хаотичное нагромождение диких камней. Внутри же обители все коридоры казались безвыходными лабиринтами, чтобы укрыться легендарному Минотавру, а узкие кельи напоминали тюремные камеры для пожизненно осужденных. При этом все выглядело настолько нищенски, что даже не верилось в могущество основателя нашего ордена. Но старик-настоятель, позванивая связкой ключей, отворил двери в келью самого Лойолы и сказал:

— Возликуй, сын мой! Именно здесь выковывался меч истинной веры, рукоять которого в Риме, а острие блистает всюду…

Я невольно затих, оказавшись внутри главного штаба нашей великой армии. Стены кельи были сплошь обтянуты алой парчой, арабские ковры скрадывали шорох моей благоговейной поступи, а все вещи, сделанные из золота, были орнаментированы перламутром, хрусталем и рубинами. Именно здесь жил Иниго Лойола!

Мне живо представилось, как в этом небывалом великолепии одинокий, искалеченный человек, опираясь на костыли, владел верховною властью, умело поставив себя выше самого папы, и слова его, произнесенные тихим шепотом, отзывались в далеких странах громом пушек, стонами и мольбами миллионов…

Я рухнул на колени и воздал молитву деве Марии!

За время моего отсутствия в миссии моя судьба была решена. В миссии меня ожидал молодой и красивый миланец Ферерро, приехавший из Рима, чтобы сопровождать меня, и я не имел понятия о конечной цели нашего путешествия. Одетый богатым сеньором, с кошельком у пояса, Ферерро велел облачить меня в светское платье и сказал, что в дороге я буду исполнять роль его слуги. Мы покинули Мадрид, прибыв в Валенсию, где на черной ночной воде тихо

покачивалась грузная мальтийская галера, а на лавках, прикованные к ним цепями, спали полуголые каторжники, перед каждым из них лежал уже утренний завтрак — кусок хлеба с медом. Только сейчас мне сделалось очень страшно и хотелось убежать, чтобы жить вольной жизнью нищего бродяги. Но, заметив мои душевные колебания, Ферерро с дьявольской усмешкой точно ответил на мои мысли:

— Уже поздно! Побывав в Зумараге, разве не видел ты келий, похожих на гробницы? Оставь сомнения, иначе ты насидишься там до тех пор, пока твои волосы не отрастут до самого копчика, как у женщины… Подсчитай сроки!

Я быстро прикинул в уме, что отрастить волосы такой длины, как у зрелой женщины, я могу на протяжении лет сорока, если не больше, и ступил на палубу мальтийской галеры.

— Везите меня, — сказал я, и в этот момент почувствовал себя трупом, который перевернули на другой бок.

На рассвете мальтийские рыцари, закованные в бронзовые доспехи, ударами бичей разбудили гребцов, те с бранью и молитвами разобрали грохочущие весла, раздался свист и весла дружно, взлетев над волнами, зачерпнули черную воду…

Галера тронулась… Куда?

Если мир — кольцо, Антверпен — бриллиант в нем. Так говорили тогда в Европе. Нидерланды мы, читатель, чаще называем Голландией, но раньше эта страна составляла общину нескольких государств, принадлежавших испанским Габсбургам: это были сама Голландия, Фландрия, Бургундия, Намют, Брабант, Люксембург, Фрисландия и Бельгия. Все, что произошло тогда в Нидерландах, нелегально описал Шарль де Костер в своем превосходном романе «Тиль Уленшпигель», и образ неунывающего весельчака Тиля отразил дух народа, не желавшего быть бесправным скотом на испанской живодерне короля Филиппа II. Правила Нидерландами Маргарита Пармская, сестра Филиппа II, рожденная от блуда императора Карла V с какой-то прачкой (вот тебе и Габсбурги!). Кстати, Маргарита тем и отличалась от Габсбургов, что была женщиной доброй, зла людям не желала.

Испания нищала. Филипп разорил ее, испанцы даже дверные крючки, даже гвозди, даже моток шерсти покупали в Нидерландах, которые быстро богатели трудом и торговлей; там процветали искусства, живописцы в своих натюрмортах отражали изобилие своего стола: полыхало вино в

драгоценных кубках, топорщились розовые омары, источала нежный сок свежая ветчина, среди диковинных фруктов всегда царил благоуханный лимон. Нидерланды имели много гульденов, сукна и шерсти, пива и колбас, бюргеры обвешивали женщин жемчугами и кораллами, они сами представали на портретах с конторскими счетами в руках, нюхая красные гвоздики, и, кажется, не собирались наслаждаться вдыханием копоти от костров королевской инквизиции.

Конечно, Филипп II не мог равнодушно взирать на чужое счастье, и когда ему доложили, что «еретики», протестанты и кальвинисты, даже спят с женами не голыми, а в ночных рубашках из нежного шелка, король пришел в ужас:

— Богатство порождает разврат, а где разврат, там всегда пробуждается лютеранская ересь, — сделал он вывод… — но зато прав Диего Эспиноза, утверждая, что ересь окрыляет торговый дух и мануфактуры.

Он держал в Нидерландах свои голодные войска и нарочно не платил им жалованья, чтобы его голодранцы проворнее обжирали и грабили население. Маргарита Пармская, жена Оттавио Фарнезе, со слезами умоляла брата-короля не испытывать терпение ее подданных, но Филиппа

II не так-то легко было уговорить на доброе дело. Сначала его инквизиция сжигала на кострах сочинения Лютера и Кальвина, а потом принялась за людей. Но возмущение народа было столь велико, что «еретики» разгромили все католические храмы и перевешали инквизиторов, как бешеных собак; священники папы римского так были запуганы, что спешно отращивали бороды и тщательно маскировали тонзуры на своих макушках. Из монастырей все разом разбежались, и монахи играли веселые свадьбы с монахинями.

Вот тогда Филипп велел ехать в Нидерланды герцогу Альбе; этот набожный кастилец не считал молитву доходящей до бога, если она не подкреплена пролитием крови. Король указал ему начать с истребления знати (и в этом он напоминал Ивана Грозного, начинавшего с уничтожения боярства).

— Закапывай женщин в могилы сколько угодно, но ты обязан казнить никак не менее семидесяти тысяч мужчин…

Альба привел в Люксембург громадную банду головорезов — испанцев, валонцев, итальянцев и немецких ландскнехтов, которым всегда было безразлично, кого убивать, лишь бы на убитом висел кошелек. Маргарита Пармская сказала

Альбе:

— Будь ты проклят, старая сволочь! Я вашим злодействам не слуга и завтра же уезжаю… к мужу. Лучше кормиться с нищенской Пармы, нежели иметь большие доходы с Амстердама…

Альба считал день пропащим, если не удалось убить пятьсот человек. Отрубленные головы насаживали на пики для устрашения тех, кто будет убит завтра. Опозоренных женщин загоняли в громадные могилы, а сверху на матерей швыряли их детей младенцев, потом закапывали, и земля долго шевелилась на этом месте, словно живая. Сам же герцог являлся в окружении лютых корсиканских собак, приученных рвать мужчин за половые органы. «Трибунал совести», созданный герцогом Альба, в народе прозвали «трибуналом крови». Зато королевская казна сразу обогатилась на ТРИДЦАТЬ МИЛЛИОНОВ талеров.

— Альба настоящий кастилец! — говорил король…

Ватикан ликовал, радуясь погибели «еретиков». Папа римский наградил Альбу короной и шпагой с бриллиантами из своей личной шкатулки, при этом папа простил извергу даже то, что Альба убивал в Нидерландах всех подряд — и католиков, и лютеран, и кальвинистов, лишь бы

убить побольше. В результате этой грандиозной бойни — фабрики опустели, магазины закрылись, купцы разбежались, корабли покинули гавани, люди спасались в землях Франции и Германии, а богатейшая страна, еще вчера столь счастливая и радостная, превратилась в кладбище.

Но победителем все-таки останется Тиль Уленшпигель!

Есть ли нужда в исторических параллелях?

Наверное. Между королем Филиппом II и царем Иваном Грозным я нахожу немало общего: оба они с одинаковой жестокостью не щадили людей, одинаково убежденные в том, что, убивая, творят богоугодное дело, только один мерзавец уничтожал народ с помощью инквизиции, а другой негодяй с помощью опричников.

На этом я заканчиваю, чтобы вернуться в Москву, из которой в одну ночь вывезли сразу четыреста лучших красавиц.

19
НЕЧТО БОЖЕСТВЕННОЕ

Чтобы досадить митрополиту, царь накануне провел облаву во многих домах, опричники изрубили много людей и куски их побросали в колодцы; жены черпали воду из колодцев, где плавали их сыновья и мужья, а мужья пили ту воду, в которой была кровь их жен. Многих жен царь перевешал на воротах домов, «и мужья должны были ежедневно проходить под их повисшими телами, и при этом не имели права показывать вида», как тяжелы их страдания, — так писал очевидец. Но какое бы злодейство ни творилось, подле царя неотлучно пребывал его сын — царевич Иванушка, его плоть и кровь, копия батюшки, лучший товарищ отцу в пьянстве, в блуде, в молитвах и в пакости…

Рано утром сын радостно доложил батюшке, что четыреста жен-красавиц вывезены в лес, можно учинять поход, и царь Иван Грозный сам возглавил тысячную ораву опричников и пищальников, будто шел на врага, дабы победить или умереть. Страшно читать, что он сделал

дальше: «Приказал вывести всех этих благородных женщин (которых забрал от мужей), выбрал из них несколько для своей постыдной похоти, остальных разделил между своей челядью», и опричная сволочь с воплями «Гойда, гойда» разом накинулась на несчастных, мигом обнажила их всех и стала насиловать всех подряд без разбора.

— Ой, любо мне… любо! — хохотали царь и царевич. После надругательства жены были снова посажены на телеги и отвезены обратно в Москву, «где каждая сохранившая жизнь была оставлена перед ея домом. Но многие из них сразу покончили с собой или умерли ог сердечного горя во время этой содомской поездки». В самом деле, что им было делать? Испытав такое глумление, как они могли вернуться к мужьям? Что могли эти жены сказать им, кроме беспомощных слов:

— Бей меня… но невинна я! То воля была царская…

Таубе и Крузе, участники этого изуверства, писали, что царь после этого шесть недель не мог успокоиться. Со своим войском он больше месяца кружил вокруг Москвы, «сжигал и убивал все, что имело жизнь и могло гореть… все, что имело дыхание, должно было умереть». Причем здесь бояре? Бояре остались в Москве, а теперь

царь убивал крестьян, ни в чем неповинный деревенский люд. Детишки на груди матерей и даже те, что во чреве, были задушены. Женщины, девушки и служанки были выведены нагими в присутствии множества людей и должны были бегать взад и вперед — ловить кур! Все это ради любострастного зрелища, и когда это было исполнено, царь приказал перестрелять всех (женщин) из луков. Но когда все было уже мертво, опричники жгли скирды хлеба в полях, резали скот, перебили всех собак и кошек. Иван Грозный перекрестился:

— Кажись, славно всех отделали!

Но сын Иван сказал, что остались рыбы в пруду. Царь указал сломать плотины мельниц, спустить из прудов воду, и с наслаждением наблюдал, как бились в тине издыхающие рыбины. А теперь я спрашиваю тех историков, которые восхвалили «государственную мудрость» Ивана Грозного — в чем же заключалась его мудрость? Если он борол оппозицию боярскую, называя бояр врагами, то почему же врагами для него стали крестьяне, их жены, их дети, коровы, лошади, собаки, кошки и даже рыбы?

Кто мне на это ответит? А ведь сколько ученых мужей зарабатывали себе научные степени,

украшались значками лауреатов и орденами, сделались академиками — только потому, что высоко ценили подобные «подвиги» Ивана Грозного, чтобы угодить тому, кто считал его народным героем… Всё продалось, и только один академик Веселовский называл вещи своими именами. Но его не печатали — печатали других, подхалимствующих!

Все молчали, задавленные страхом, и только один митрополит Филипп Колычев молчать не стал, ибо кто-то должен страдать за всех, и пусть тиран не думает, что перевелись на Руси отважные люди. Как это и водится в мире насилия, у каждого честного человека объявляются враги, были они и у Филиппа: протопоп Евстафий, духовник царя, архиепископ новогородский Пимен, сам желавший стать митрополитом, и другие…

28 июля в Девичьем монастыре был крестный ход, и народу скопилось немало, ибо в годины всенародного горя люди ищут милости в церкви. Был здесь и царь со своими опричниками, одетыми, как монахи, во всем черном, а на головах — высокие черные шлыки, похожие на колпаки инквизиторов. Филипп всенародно обличал злодейства их:

— Даже у народов диких таких злодейств и без-

закония не водится, какие пошли на святой Руси, где слабым и невинным нет жалости… Возвещаю от бога: мир вам всем, люди добрые!

При этих словах все обнажили головы, но один опричник остался в шапке. Филипп указал на него царю:

— Твой пес? Так усмири его сам…

Опричник, явно подговоренный, мигом снял шапку и спрятал ее за спину, а другие опричники стали галдеть:

— От митрополита нам никакой ласки, а сколько зла от него терпели? Зачем он напраслину возводит, коли брат наш во Христе исправно молится…

Царь стал ругать Филиппа:

— Ты зачем моих верных слуг при всем честном народе порочишь? Моему царскому державию ты лучше не прекословь…

На этот раз царь не стал бесноваться. Он поступил иначе — подлее. Собрал врагов и завистников Филиппа, отправил их на Соловки и там эта «следственная комиссия» угрозами и побоями вынудила соловецких монахов дать показания против Филиппа, своего бывшего игумена. С этим и вернулись в Москву, притащив с собою и свидетелей, обязанных стать обличителями. 4

ноября 1568 года в присутствии Ивана Грозного состоялся «соборный суд». Свидетели, потупив очи, послушно подтвердили, что митрополит Филипп еще игуменом вел «неподобающую и порочную жизнь». Филипп все понял, но оправдываться не стал.

— Государь! — с достоинством сказал он царю. — Ты напрасно ухмыляешься, думая, что я боюсь тебя. Ни ты мне не страшен, ни смерть не страшна. Ведь даже камни под тобою, и те вопиять станут против тебя… Так лучше уж мне принять смерть и мучения, нежели иметь митрополию при твоих мучительствах и беззакониях… Неужто ты сам стонов народных не слышишь?

При этом, говоря такие слова, Филипп начал разоблачать себя, слагая с себя регалии духовной власти. Таубе и Крузе запечатлели этот трагический момент: «так как великий князь не желал такого благородного прощения и ему не понравилось, что митрополит сам сложил с себя свое облачение», он крикнул:

— Нет, Филипп! Зачем мне расставаться с тобою? Облачись снова, и в праздник святого Михаила служи как прежде. Пусть народ услышит от тебя словеса полезные…

Тут и весь синклит судей начал царю поддаки-

вать, угодничая перед ним, просил не покидать митрополии:

— Не гневи царя нашего, отслужи всем нам…

Что еще задумал царь? Иван Грозный, натура артистическая, всегда стремился к драматическим эффектам, любое свое переживание, которое другим человеком было бы забыто, он старательно и даже мазохистски растравливал в незаживающую рану, чтобы его личная боль отозвалась в муках других людей. Был день 8 ноября. Филипп вел службу в Успенском соборе, когда собор стали заполнять опричники. В самый торжественный момент службы через толпу людей проломился Басманов и стал рвать с митрополита его одежды, шитые золотом, сбил с него митру.

— Ты доколе тут православных мутить будешь? — кричали опричники и на глазах людей стали бить Филиппа метлами.

— Прощайте, люди! — успел крикнуть Филипп. Басманов зажал ему рот и велел опричникам:

— Тащи его! Сейчас отделаем болтуна…

Филиппа выволокли из собора, бросили в дровни и повезли в заточение. Иван Грозный хотел сжечь его на костре, словно колдуна, зашить его в шкуру медведя, чтобы потом затравить собаками,

словно зверя, но… Но царь испугался народных волнений, ибо москвичи толпами собирались под стенами Староникольского монастыря, где томился Филипп, опутанный кандалами. Еще не решив, как поступить с Филиппом, царь все зло выместил на его близких: «он приказал содрать с них живых кожу, и ничто не было им пропущено из того, что когда-либо изобрела тирания». Наконец, он обрушил свой гнев на весь род Колычевых, и в камеру Филиппа слуги внесли большие подносы, поверх которых лежали отрубленные головы. Филипп смотрел на мертвые лица, узнавая своих братьев, дядей и теток, племянников и племянниц. Иван Грозный надеялся, что уморит Филиппа голодом, цепями и страхами, но старик не умирал, а толпа москвичей не расходилась возле стен монастыря, плачущая. Людей днем разгоняли, так они стали собираться ночами. Тогда царь распорядился:

— Филиппа заключить в тверской Отрочь-монастырь, и пусть там приставом будет Степан Кобылин, который драться горазд.

Необходим вывод. Филипп желал, чтобы его личное сопротивление террору стало общенародным протестом, а на боярскую оппозицию он уже не рассчитывал. До нас из мрака шестна-

дцатого столетия чудом дошли подлинные слова Филиппа:

— На то ли совокупились мы, отцы и братие, — говорил он, — чтобы молчать, страшась молвить истину? Не своим ли молчанием потакаем преступлениям царским, а души свои обрекаем на грех и погибель… Нам ли смотреть на бояр безмолвствующих? Они связали себя житейскими куплями, дела предатели и злобе пособники. А мы не станем щадить себя ради истины…

Страшный конец ожидал митрополита Филиппа!

Но притихло все, и занесло Русь-матушку белым снегом.

В нынешней Владимирской области есть такой городок — Александров, в двух часах езды от Москвы на электричке. Там есть радиозавод, ткацкая фабрика, клубы, рестораны, универмаги. Живут там люди и не ведают, что дома их строены на костях, а сам город был когда-то «невенчанной столицей» Руси, «кровопийственным градом» для России и загадкою для Европы. Может, жителям современного Александрова лучше бы и не знать об этом. Но местные краеведы, люди дотошные, много лет тщатся постичь его кровавые тайны. Однако, город молчит, словно проклятый, и где-

то, очень глубоко под новостройками, затаилась подземная «труба» — широкий туннель, вроде метро, до сих пор не отысканный; археологи уверены, что царь садился на тройку лихих коней и под землей мигом проскакивал в город из слободы на целых пять верст. Как тут не вспомнить и дерптского пастора Ваттермана? Краеведы убеждены, что драгоценную «Либерию» Ивана Грозного следует искать не в Москве, а где-то здесь. Но… где? Я раскладываю старинные рисунки и фотографии столицы Опричнины, и мне жутко видеть келью-тайник в самой толще стены Успенского собора. Каким болезненным воображением надо обладать, чтобы затаиться в каменной кладке, подобно гнилостной крысе в норе, и отсюда решать судьбы России, которые отзовутся на судьбах всей Европы!

Вернемся в прежние времена, слава богу, угасшие…

Интересно — что там вытворял царь-государь?..

Все опричники, будучи равноправными членами одного секретного ордена, монашеско-воинственного, были похожи один на другого, как две капли воды. Пребывая в Александровской слободе, они носили почти нищенскую грубую одежду

типа монашеской на овечьем меху, зато под рясами была скрыта одежда суконная, но расшитая золотом и подбитая нежными мехами соболей или куницы. Все здоровые, молодые, одинаково бездушные и бессердечные, все спаянные единою клятвою. Каждый опричник имел в руке длинный железный посох с очень острым концом, чтобы насквозь проткнуть человека, а под рясами они держали длинные ножи, «чтобы иметь все готовым для свершения мучительства или казней». Внешне же все они выглядели смиренными членами дружной монашеской братии.

Ни сам царь Иван Грозный, ни его сыновья, садист Иван да придурок Федор, ничем не выделялись из среды «кромешников». Только царь считался игуменом, князь Афанасий Вяземский назывался келарем, а Малюта Скуратов ретиво исполнял службу пономаря. Вот эти люди стояли у самого кормила власти, управляя долгим и страшным плаванием опричного корабля, бороздящего волны в необъятном море людских слез и народной крови.

В те времена вокруг Александровской слободы смыкались дремучие дебри, где полно было медведей, лисиц, волков и лосей, а берега реки Серой густо обживали многотысячные семьи бобров.

Внешний вид твердыни Ивана Грозного — это явная крепость, обнесенная высокой стеной, окопанная валом и окруженная глубоким рвом. Нерасторжимые врата, окованные железом, имели прочные запоры. Внутри же цитадели — как монастырь со множеством церквей, укрывавших под сводами подземные тюрьмы и пытошные камеры. Александровская слобода — это русский Эскуриал, только, в отличие от короля Филиппа II, царь устроил здесь не монастырь-гробницу, а монастырь-тюрьму с камерами и разными приспособлениями для мучительства. Синодальная летопись удостоверяет: «И быша у него мучительныя орудия, сковороды раскаленные, пещи тоже, бичевания жестокия, ногти острыя, клещи ражженные, терзания ради телес человеческих, игол за ногти вонзения, резания по суставам, претрения вервями на полы (т. е. перетирания веревками пополам) не токмо мужей, но и жен благородных…» — этот список я мог бы продолжить цитатой из Новгородской летописи, но и этого нам достаточно.

Еще до первых петухов, затемно, царь с сыновьями взбирался на колокольню и будил набатом окрестности. В четыре утра все опричники были в церкви, и горе тому, кто проспал или замешкал-

ся; Иван Грозный таковых не щадил:

— Восемь ден епитемии со столом постным, — наказывал он, — и стоять, как столбу, тебе в углу трапезной…

С четырех до десяти утра царь пел с опричниками столь исправно, что монахи позавидовали бы их согласию. К тому времени была готова на кухнях еда, все шли в трапезную палату, столь обширную, что за столы садилось не меньше трехсот опричников. Каждый приносил с собою кувшин, кружку и блюдо. Во время насыщения братии царь в рот крошки не брал и, как игумен, читал с налоя всякие назидательные поучения в духе евангельском. Еда подавалась самая добротная, преобильная, было много вина и меда, всю порцию «кромешники» не осиливали, остатки уносили домой, чтобы кормить семью или ублажать нищих. Лишь после этого обедать садился к столу царь-игумен.

Иван Грозный ел, как всегда, очень много, а все объедки складывал обратно на блюдо. Началось главное, ради чего он жил, и не бывало такого дня, чтобы, пожрав, он не спускался в застенок «многие сыски чинити». Из трапезной лестница уводила в кухонные подвалы с печами, где узники подземной тюрьмы каждодневно насы-

щались запахами пищи своих палачей. Археолог И. Стеллецкий в канун революции осматривал подземную тюрьму, поразившую его мраком, загадочным лабиринтом планировки и высоким качеством отделки стен, выложенных из белого тесаного камня с «классической тщательностью отделки». В стенах было много таинственных отверстий и одно оконце, в которое узникам спускали хлеб и воду. Стеллецкому стало не по себе, когда во мраке пытошной он увидел пламя, но пытошная уже была пекарней, где монашенки выпекали для себя булки. Они же объяснили археологу, что отверстия были сделаны для дыхания тех опричников, которых царь замуровал здесь заживо, подозревая их в измене своему делу… Монашенки говорили:

— Дышать им давали, чтобы они дольше мучались!

Не могу не процитировать Таубе и Крузе, которые сами бывали с царем в этой тюрьме; по их словам, здесь постоянно ждали казни многие сотни человек, а царь, вкусно пообедав, «заставляет в своем присутствии пытать их безо всякой причины, что вызывает в нем особенную радость… никогда не выглядит он более веселым и не беседует более весело, чем тогда, когда он

присутствует при мучениях и пытках до восьми часов» вечера. Как раз в это время все опричники снова сходились в трапезной для вечерней молитвы, длившейся целый час.

Царь, забрызганный кровью, распевал молитвы…

Отмолясь, он следовал в спальню, где слепые старцы усыпляли его глупыми сказками, но сон царя был удивительно краток: ровно в полночь он уже вставал, чтобы в три часа ночи уже лезть на колокольню. Все государственные распоряжения он делал в паузах между молитвами, убийствами и пытками, а приказы, кого убить, кого изжарить, кого рассечь, кого взорвать порохом, он отдавал исключительно в храме божием… «Этому приказанию, — писали очевидцы, — никто не противился, но все, наоборот, считают за счастье, милость, святое и благое дело исполнить его».

Орден! Да, это был настоящий орден убийц…

Только не надо думать, что царь чувствовал себя даже здесь в полной безопасности. Пребывая в молитвенном экстазе, он часто укрывался от людей так, что его не могли найти. Трусливый по натуре, он имел еще потаенную келью, похожую на щель в крепостной стене, где окно напоминало бойницу, и как раз напротив этого окна стояла

виселица. Царь, пишет Стеллецкий, любовался отсюда повешенными, которые, крутясь под напором ветра, иногда как бы заглядывали к царю в это окно. В углу кельи была простая русская печка для обогрева. Из этой моленной потаенная лестница вздымалась прямо на колокольню, где по утрам царя ожидали, позевывая от недосыпа, Малюта Скуратов и сыновья, дабы благовестить к заутрене.

Такова была Александровская слобода, куда сгоняли сотни «изменников» — зимой их гнали босых по снегу, догола раздетых, и никто из узников, вошедших сюда, прав он или виноват, живым обратно не вышел. Ни один! Однако, слобода не была лишь царством стонов казнимых и воплями пытаемых. Нет, совсем нет. Здесь не раз бывали смотрины царских невест, играла порой свадебная музыка, здесь пировали царицы, слобожане не раз видели и посольский блеск высокочтимых дипломатов Швеции, Англии, Ливонии, Польши и даже… даже Ватикана.

Пора заканчивать. Да, здесь царь немало блудил, прежде завешивая иконы, дабы святые лики праведников не оскорбились его срамом, здесь он «починал» девственность юных цариц, тут же он принимал их последние предсмертные вопли.

Да, здесь царь Иван Грозный хотел бы и умереть, если бы не трагический день 19 ноября 1582 года.

Комната, где он укокошил своего наследника, была угловая, ничем не примечательная, почти квадратная, единственное окно в ней было закрыто железной решеткой. Когда дворец-тюрьма позже был переделан в Успенский женский собор, то в этой самой комнате юные монашки рассказывали пикантные анекдоты, и на вопросы археологов, знают ли они историю этой комнаты, монашенки весело отвечали:

— Да, у нас тут кошка вчерась окотилась…

А теперь, читатель, коли мы коснулись «божественной» темы, так поведаем тебе, как на духу, откуда пошло на Руси кабацкое пьянство… Веселие на Руси не есть пити, а на княжеских пирах древней Руси упивались медами, которые, кроме пользы, ничего дурного человеку не делали.

Простонародье само по себе варило на праздники пиво, квасы и меды «бархатные» — тем и утешались. Вино было штукой редкостной, им угощались только знать да высшее духовенство.

Но вот появилась опричнина, а вместе с нею и первый в Москве кабак (слово татарское, «постоялый двор» означает). Сооружая Опричный двор, украшенный львами с зеркальными глазами,

Иван Грозный на том месте, что звалось «Балчугом», велел завести кабак для своих опричников. Именно для них, чтобы, убийствами натешившись, и чтобы совестью не страдали, пили псы царские, сколько душа примет, и ни о чем больше не думали. Пировать в кабаке могли только опричники, и они этим правом гордились: пьян да умен — два угодья в нем! Но к слову «кабак» приложилось слово «царев», и нашлись охотники забежать во «царев кабак», чтобы лизнуть хмельного, ибо запретный плод всегда слаще. Но сам народ с кабацким веселием связывал что-то черное, почти гибельное, по Москве ходило даже поверье, что церковь на Балчуге сквозь землю провалится.

Когда же миновало лихолетье опричнины, дело Ивана Грозного не пропало даром, и кабак с Балчуга цари перенесли прямо в Кремль, под сень хором царских, и поставили кабак там, где ныне трезвые экскурсанты разглядывают Царь-пушку. Однако, кабаки царские были народу ненавистны, как и сама память об опричнине. Потому царям пришлось немало потрудиться, чтобы приучить народ к казенному пьянству. Героям тогда орденов не давали, а награждали их царским ковшом, чтобы владелец ковша пил

всюду бесплатно столько, сколько может этим ковшом зачерпнуть водки с одного раза…

Читатель да помнит: русский человек до появления опричнины пьяницей никогда не был, а, уничтожая в стране пьянство, мы уничтожаем проклятое наследие кровавой царской опричнины.